

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

ПАРАЛЛЕЛИ PARALELĒS

LĪTERATŪRINIS GROZĪNIS ŽURNĀLAS



2010



BALTOSLAVIA

Главный редактор:
Вячеслав Карпенко
Зам. главного редактора:
Римантас Черняускас

Редакционная коллегия:
Елена Александронец
Игорь Белов
Олег Глушкин
Валерий Голубев
Сэм Симкин
Арвидас Юозайтис

Директор, автор проекта «Балтославия»:
Валентин Черноухов

Компьютерная верстка:
Алексей Попов
Корректор:
Ольга Владимирова

ПАРТНЕРЫ:
Калининградский ПЕН-центр
Клайпедское отделение СП Литвы

При участии:
Калининградской городской библиотеки им. Чехова

Адрес редакции:
Россия, Калининград, ул. 9 апреля, 5; тел/факс (+4012) 460 330
Литва, Клайпеда, ул.Аукштойи, 9; тел/факс (+37046) 410 476
e-mail: kpenc@mail.ru; baltoslav@mail.ru

ISBN 5-901194-29-2 Тираж 900 экз.

Авторам должно сметь свое суждение иметь.
Все авторские права защищены.
При перепечатке и цитировании
ссылка на «Параллели» обязательна.

Наши партнеры:
Калининградская централизованная библиотечная система
Зеленоградская городская библиотека

ВЕСТКОМП



МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
INTERNATIONAL FEDERATION OF RUSSIAN - SPEAKING WRITERS



КИТЦ



С.ФОТО
www.sfoto.ru

СОДЕРЖАНИЕ:

Колонка редактора

Валерий Голубев. На том, на этом берегу	4
---	---

К 65-летию окончания Великой Отечественной

Олег Глушкин. Бессмертие поэзии	6
Юрий Чернов. Стихи	8
Александр Твардовский. Страницы записной книжки. Стихи	12
Валерий Голубев. Видеть и слышать, и – помнить («Мой блокнот»)	16
Вячеслав Карпенко. Освобождение (Глава из романа)	21
«Вратарь». Послевоенная песня	28
Вячеслав Хомич. Победа	29

Ушли, чтобы вернуться

Трифоныч (От редакции)	30
Александр Твардовский. Стихи последних лет	31

Дебюты в «Параллелях»

Оля Арофикина	40
Ксения Август	44
Женя Легкость	46
Петр Старцев	48
Ольга Тумилович	52
Аушра Казилюнайте	54
Гитана Гуговичуте	56
Миндаугас Валюкас	58
Рамунас Рудженис	60

Проза

Андрей Битов. Мой Толстой	62
Олег Глушкин. Памятники	66
Римантас Черняускас. Рассказы	69
Михаил Никитин. Как царь Борис приватность вводил (Сказка)	73

Поэзия

Игорь Белов. Баллада о солдате. Стихи	79
Сергей Михайлов. Великолепное фиаско	82
Геннадий Юшко. Тень повести	86
Ганс Ляп. Лили Марлен. Вольный перевод В. Черноухова	89

Искусство

Арвидас Юозайтис. М. К. Чюрленис: органический символизм против декаданса	91
---	----

Очерк

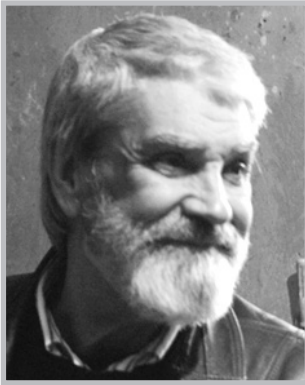
Алла Горбунова. Гофман – поиски любви	94
Алексей Губин. Узнавание Литвы	101

Встречи

Владимир Шемшученко, поэт, бард	104
«Нямунас». Литературная гостиная	108

Книжная полка

Проза сродни поэзии	112
«Наши мертвые нас не оставят в беде...»	113
«Сестра моя Литва»	114



НА ТОМ, НА ЭТОМ БЕРЕГУ

В детстве мне казалось, что военные люди не умирают.

В нашей лесной нижегородской деревне солдат не было, и мы видели их только в кино – были они всегда очень сильные и веселые. И если показывали бой, то больше стреляли наши, а «враги» или «немцы» лишь сломанно ныряли себе под ноги.

Из двадцати девяти домов Никольского на фронт ушли двадцать шесть человек. Вернулись трое.

Стоял знойный, душный июнь, и все как бы замерли, с тревожной тоской прислушиваясь к тишине... «В Левашовке, говорят, сразу трое пришли...»

В это время в деревне появилась цыганка. Все гадали. Гадала и бабушка. Двух сыновей ждала она с войны. «Идет... Идет, – быстро-быстро раскладывая и вновь собирая карты, таинственно шептала цыганка. – Вот уж до него можно палкой добросить».

– Это Митенька, – плача, улыбалась бабушка.

Вечером я вышел за избу и бросил в сторону огорода ореховый сук. Он упал в картофельную ботву, совсем рядом.

После цыганки бабушка не спала недели две. Все ходила по избе и двору, затаённо прислушиваясь, а потом – плакала. Делает что-нибудь и плачет. Я не выдерживал. «А-а! Палец порезал!» Зажимал нетронутый палец и ревел.

Бабушка вытирала слезы узкой коричневой ладонью, успокаивала:

– Я больше не буду.

Оба её сына – Дмитрий и Иван – с фронта не пришли. Сгинули бесследно.

В округе тогда никто не говорил: «Победа». Все говорили: «Война кончилась».

Те, кто вернулся, погуляли малость, попили мутного свекольного самогона, покрыли крыши своих изб прошлогодней соломой, вычистили единственный на всю деревню колодец – и ушли на заработки.

О своих подвигах они так и не успели рассказать.

Мне всё же достался маленький, литой, с малиновым, точно капелька крови, капсулем патрон.

С тех пор во мне осколком блуждает тревожащая кровинка тоски и ожидания. И каждый человек с фронта кажется человеком не таким, как все.

Мы, дети войны, жили бок о бок с фронтовиками. Они были нашими учителями, наставниками, начальниками... Для них, как и для нас, 1941 год начинается 22 июня. Солдаты опалены до струпьев огнём войны, мы – прихвачены её жестоким морозом так, что видны изда-лека: мало кто вышел ростом, подчас тщедушны... Почти все росли

на своем хлебе, зарабатывая его с отрочества.

Я всегда вижу их, ветеранов, такими: войной порубанные, жизнью поруганные, но – непобедимые! Они даже дважды победители. Там, на войне, и здесь, «на трудовом фронте», восстанавливая разруху. Знакомый тракторист показал однажды свои награды: за боевой путь – медаль, за пятилетки – рулон почётных грамот, схваченный проволокой. Сдержанность и скромность всегда украшали нашу землю, подобно осеннему притаённому закату. Мужество фронтовиков, их мудрость, нравственная устойчивость в жизни – для нас непреходящий пример, а чаще наука...

Те, кто закончил войну двадцатилетними, встретили свои восемь-десять пять. Прошрое волнует их, настоящее тяготит, будущее тревожит. «Удивительное дело, – признался вчера сосед-ветеран. – Двадцать второго июня, в день начала войны, раны так разнуются, что места не находишь... а девятого мая, в День Победы, раны не болят».

Плата народа в тяжёлую, лихую годину, во времена испытаний и катаклизмов – плата всегда роковая (это мы и сейчас видим). Двадцать семь миллионов погибших! Тысячи убиенных солдат истлели с открытыми глазами на поверхности земли... Вдовы. Сироты. Столбовая – народная – память хранит всё это в правде единственной, неподкупной, которая мало похожа на правду официальную.

...Почти через весь девятнадцатый век прошла Отечественная война 1812 года. Наполеон. Кутузов. Бородино. Сожжённая Москва. Париж. Пленные французские гувернёры...

В двадцатом веке была уже своя Отечественная, теперь ещё и Великая. Здесь свои герои, свои даты, свои песни... Пока активно, в работе и службе, жили окопные фронтовики, вдовы-солдатки, труженики тыла – в сознании и памяти людей война 1941-1945 годов держалась крепко, незыблемо и свято. Да и опомнились мы от неё лет через пятьдесят: война, у которой есть имя и отчество – Великая Отечественная.

Потом начались разные другие войны, часто непонятные народу, какие-то тайные, нахрапистые, а потому с прозвищами: «Грязная война», «Криминальная война», «Война паркетных генералов». Афганистан. Теперь вот Чечня... Сразу же появились, что естественно, новые герои, молодые ветераны, калеки, свои награды... пусть так. Но Великая Отечественная вдруг как бы отодвинулась, её уже надо защищать, да некому. Настоящий общий подвиг начало размыывать до сомнения, и уже песней приходилось убеждать: «Фронтовики, наденьте ордена!..» А фронтовики и герои тыла, все, кто созидал Победу, дружно, один за другим, гуськом уходят... И что-то не видно (и не слышно), чтобы молодой российский солдат с благоговением подошёл к бывалому ветерану Великой Отечественной и спросил бы, как спрашивал его далёкий ровесник героя 1812-го: «Скажи-ка, дядя...»

Валерий ГОЛУБЕВ

БЕССМЕРТИЕ ПОЭЗИИ

«Когда грохочут пушки, музы молчат» – так утверждают во Франции. Мы же можем с полным правом утверждать, что поэтическое слово, рожденное в огне сражений, по силе своей было непревзойденным и становилось достоянием сражающегося против захватчиков народа. Так было в Великую Отечественную войну. Строки стихов заучивали наизусть. Фронтовые газеты, где печатались стихи, не сразу пускали на самокрутки. На войне погибло целое поколение поэтов. Они погибли смертью героев, в слове своем они предсказали эту гибель. И, говоря о самопожертвовании в своих стихах, они не могли и не хотели прятаться за спины других. Лишь немногим из них было чуть больше двадцати лет. Они погибли, а стихи их до сих пор звучат, поражая своей чистотой и искренностью. Николай Майоров – доброволец-разведчик, погибший в сорок втором году под Смоленском, – перед самой войной написал эти строки:

*Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.*

Он предчувствовал свою гибель. Они шли на бой, не надеясь на бессмертье и на посмертное признание, для них важно было иное. Они защищали Родину. Это очень точно выразил один из самых талантливейших из них – Михаил Кульчицкий:

*...На бойцах и пуговицы вроде
чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.*

*Была бы Родина
с ежедневными Бородино.*

Наиболее романтичный из них – Павел Коган, принявший героическую смерть под Новороссийском в сорок втором году, прямой и отважный человек, автор слов и сегодня распеваемой «Бригантины», писал о своем поколении:

*Мое поколение –
это зубы сожми и работай.
Мое поколение –
это пулю прими и рухни.
Если соли не хватит –
хлеб намочи потом,
Если марли не хватит –
портянкой замотай тухлой.*

Всеволод Лобода, погибший в 1944 г. в Латвии, накануне освобождения Киева писал:

Не в силах радость вымерить и взвесить,
Как будто город вызволен уже,
Я в адрес: Киев, Павловская, 10 –
строчу посланье в тесном блиндаже.
Письмо увидит ночи штормовые,
Когда к Подолу катятся грома,
Когда еще отряды штурмовые
Прочесывают скверы и дома...
По мостовым, шуршащим листопадом,
Придет освобожденье. Скоро. Верь...
Впервые за два года не прикладом,
Без окрика,
негромко стукнут в дверь...

Число павших на войне поэтов исчисляется сотнями. Многие из них при жизни не увидели ни одной своей печатной строки. Многие подавали большие надежды, и неизвестно какой была бы наша поэзия, если бы каждому из них дана была бы долгая жизнь.

Горько осознавать эти потери. Хотя и про-

шло со времени их гибели более шести десятков лет, но рана не заживает. И в то же время наполняется сердце гордостью за тех, кто всей своей жизнью заслужил бессмертие.

Война унесла жизнь и лидера флотской поэзии Алексея Лебедева – героя-подводника, к счастью, успевшего оставить нам строки чеканных стихов. Сколько бы еще он мог сделать и как бы расцвел его талант, остается только догадываться.

Утверждать, что почти все павшие на войне были исключительно талантливы, позволяет нам творчество их товарищей, тех, кто вернулся с войны. Этим поэтам дано было дописать героическую эпопею. Евгений Винокуров, Константин Ваншенкин, Семен Гудзенко, Александр Твардовский, Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Юрий Левитанский, Михаил Луконин... Список можно продолжить. Они составили целую эпоху в нашей литературе. Идут годы. Этих поэтов уже нет среди нас. Но они остаются мерилем совести, точкой отсчета уровня нашей поэзии. Их стихи заучивают наизусть. И повторяешь часто звучащее исповедально стихотворение Твардовского:

*Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, но не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но все же, все же, все же...*

Многие из послевоенного поколения не были по достоинству оценены при жизни. Долгое время оставались неизданными стихи Слуцкого и Самойлова. Но рукописи не горят. Сегодня нам доступны их яркие и героические

строки. Война сказала на их судьбе. Жизнь их тоже была не столь долгой.

Семен Липкин был исключением из общего ряда, ибо прожил почти век. Сражавшийся в донских степях, чудом уцелевший в окружении, тонувший в Балтике и воевавший в морской пехоте, он явил нам, на что способен человек и показал образцы честности и стойкости. Долгое время его не печатали. Он сделал много талантливых переводов народных эпосов. Он сам вышел из Союза писателей в знак протеста против исключения молодых писателей, опубликовавшихся в «Метрополе». Он написал о драме выселенных народов повесть «Декада». И только в последние годы к нам стали приходить его стихи. Они еще не все опубликованы. И трудно сегодня даже представить весь объем его творчества. В его стихах отразился весь трагизм двадцатого века. И невозможно забыть его, казалось бы, простые строки:

*Серое небо. Травы сырые.
В яме икона панны Марии.
Враг отступает. Мы победили.
Думать не надо. Плакать нельзя.
Мертвый ягненок. Мертвые хаты.
Между развалин – наши солдаты.
В лагере пусто. Печи остыли.
Думать не надо. Плакать нельзя.*

Если бы всем фронтовым поэтам дана была бы столь долгая жизнь – литература наша получила бы мощное наполнение.

Но плакать не надо. Грядет праздник Победы. Мы вспоминаем павших. Мы обращаемся к их стихам.

Олег ГЛУШКИН

Юрий Михайлович ЧЕРНОВ



Юрий Михайлович Чернов – автор доброго десятка сборников стихов, такого же количества исторических романов и повестей, среди которых «Верное сердце Фрама» (об экспедиции Г.Седова), «Чайки над айсбергом» (о штурмане Альбанове) «Остров домашний» (об исследователе Заполярья Н.Урванцеве)... Судьба этого известного писателя, ныне живущего в подмосковном Дмитрове, накрепко связана с нашим городом. Молодым лейтенантом Юрий Михайлович Чернов штурмовал Кёнигсберг, а затем создал необычный и вечный текст – слова, что выбиты в граните на памятнике 1200 гвардейцам. Образно назвал маршал Баграмян этот текст «каменной книгой».

В огненном вихре войны зародился талант поэта. Он вспоминает: «В 44-м, когда мы пересекли границу Германии, в типографии армейской газеты «Боевая тревога» напечатали мою первую книжцу – поэму «Русский солдат», посвященную Юрию Смирнову, моему однополчанину. Его, раненого гитлеровцы захватили в плен и распяли на кресте, не добившись показаний. Его допрашивал генерал-садист Траут. Я был среди тех, кто в день наступления увидел в генеральском блиндаже распятого однополчанина. Во лбу, в раскинутых руках и ногах торчали головки ржавых гвоздей. Увиденное потрясло меня. Я не мог не написать о подвиге Юрия».

В Пруссии, в Роментеновском лесу, где находился охотничий замок Геринга, состоялся парад гвардейских частей, на трибуне была мать Юрия – Мария Федоровна, я читал эту поэму, а генерал Галицкий награждал тогда меня орденом Красной Звезды.

Третье и самое тяжелое ранение (пять осколков хирургии удалили, два ношу до сих пор близ сонной артерии) я получил после боя на улицах Веллау. Две недели я был без сознания. Меня спасла, выходила хирург Мария Рома-

новна Аденская. И все-таки, хоть и забинтованной шеей, я участвовал в штурме Кёнигсберга. Присутствовал я, как корреспондент газеты «Боевая тревога» на допросе генерала Ляша у маршала Василевского. Ляш пожаловался, что у него отняли шпагу (если генерал сдается, то шпагу при нем якобы оставляют) и сняли с него часы. Василевский приказал вернуть это пленному и спросил – не желает ли он попасть туда, где отбывает плен Паулюс. Ляш согласился.

В Кёнигсберге на время строительства мемориала меня освободили от работы в редакции, поручив писать тексты. Нанушьян – архитектор из Москвы поставил жесткую задачу: лаконизм! Ведь слова приходится высекать на граните. На строительстве Иван Христофорович Баграмян еженедельно проводил летучку. Генералы, командующие разными родами войск, жаловались на меня, что их роду войск я отвел несколько слов. Мне, двадцатилетнему лейтенанту дискутировать с ними было сложно. На мою сторону встал Баграмян:

«Попробуйте в трех словах сказать больше, чем сказал он! А я посмотрю, что у вас получится. Действуйте, лейтенант, не оглядываясь на критику...»

Прошло с тех пор 65 лет, слова, отчеканенные в граните, мы постоянно читаем, убеждаясь в их силе и краткости. Автор слов продолжает плодотворно трудиться и издает книгу за книгой, несмотря на свой возраст. Недавно увидел свет объемный том его стихов и поэм. Назвал он эту книгу: «Какое счастье – молодость души». Стихи подтверждают: ветеран остается молодым. В стихах отразилась вся его жизнь – и обретения и потери, огонь войны и годы путешествий, любовь и поиски героев. Стихи о войне составили раздел «Сквозь пламя». Несколько стихов из этого раздела мы публикуем.

* * *

Я в окопе побрился впервые.
В час, когда провожают девчат,
Я встречал лишь рассветы стальные
И слышал, как «пантеры» рычат.

Я тебе не писал на привале,
О тебе я не знал до поры.
И меня только ветры ласкали,
Согревали лесные костры.

УХОДИМ В НОЧЬ

Уходим в ночь, еще не зная,
Что, может, завтра поутру,
Снег потемневший приминая,
Не все вернемся мы к костру.

Не все махорку мы получим
И похлебаем кипяток.
И старшина, пройдя, как туча,
Раздаст оставшийся паек.

* * *

Трудней всего – подняться под огнем,
Оставить за спиной броню траншеи.
Что может быть отчаянней, страшнее,
Чем в полный рост подняться под огнем?!

А дальше – леденящее «ура»,
Холодное бесстрашие прорыва.
И только смерть бывает молчалива.
Мы живы, если катится «ура».

И вот – в чужих окопах мы уже,
Где стоек тошнотворный запах дуста,
Но на душе не радостно, а пусто, –
Как мало нас на новом рубеже.

О сколько там осталось, на снегу!
Чадят в чужих окопах самокрутки.
Мы на войне всего вторые сутки,
О сколько там осталось, на снегу.

1200

*В Калининграде воздвигнут монумент
1200 гвардейцам, павшим при штурме Кенигсберга.*

Обступили на краю России
Вдруг воспоминания меня –
Острые, как раны ножевые,
Гневные, как всполохи огня.

Дрогнуло гранитное молчанье,
Вижу – вот идут, идут ко мне

Давние мои однополчане,
Крылья плащ-палаток на спине.

И земля покорная разверста,
И встают, выходят из земли
Те, кому пронзили пули сердце,
Те, кого в бою мы погребли.

Я не мог привыкнуть к слову «павший».
Пал солдат, и не помочь ему.
По изрытой смертью черной пашне
Шли мы и в разрывах, и в дыму.

Стойте, задержитесь на мгновенье!
Размотался бинт, скользнув из рук.
Вскрикнув, опустилась на колени
Санитарка Лена Ковальчук.

Я еще стою минуту с нею.
– Лена! Лена! –
 Флягу подаю.
Я не знаю, я понять не смею,
Что стою с убитою в бою.

И уже от гула глохнут уши,
И несется хриплое «впе-р-ед»,
И какой-то смерч, меня взметнувший,
По земле распластанной ведет.

И комбат Сергеев возле брода
Падает в апрельскую траву.
Он к победе шел четыре года,
Он победу видел наяву.

И в азарте и смятенье боя
Мы комбата понесли с собою.

Триста метров...
 Далеко ли, близко?
Он их не прошел.
 И там сейчас
Смотрят в небо грани обелиска,
Молча смотрят павшие на нас.

Камни шевелятся, как живые,
И воспоминанья жгут меня
Острые, как раны ножевые,
Гневные, как всполохи огня.

УРОК ГЕОГРАФИИ ДЛЯ ДОЧЕРИ

Думала: география –
Скучная, отвлеченная?
В ней – моя биография,
Пулями иссеченная.

Помню: была ты рада,
Когда увидала Волгу.
Помню: «водной преградой»
Была наша Волга долго.

Я над ее волною
Держал рубеж знаменитый.
Бруствером, как бронею,
От пуль и от бомб прикрытый.

Над мирной рекою русской
Я победил и выжил,
Теперь не найти тот бруствер,
Бруствер с травой рыжей...

Еще мы с тобой бывали
Над тихой Березиной.
Ивы в воде купали
Ветви в июльский зной.

А я по-другому помню
Тихую Березину:
Пушками взорван полдень,
Яростный крик: «Тону!»

Брызги, кипя, летели,
Берег в сплошном огне,
И этот рубец на теле –
Память о жарком дне...

Реки и перекаты,
Пенящийся поток.
Левый берег – покатый,
Правый берег – высок.

Катилась война к развязке,
Но грохот еще не стих.
По Прегелю плыли каски
Однополчан моих.

И в мире, огнем объят,
Осколками в клочья рваном,
С семнадцати – мы солдаты,
А с двадцати – ветераны...

Вот она, география,
Вовсе не отвлеченная:
В ней – моя биография,
Пулями иссеченная.



Александр ТВАРДОВСКИЙ

СТРАНИЦЫ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

КЕНИГСБЕРГ

Дощечки с надписями: «Проезда нет» и «Дорога обстреливается» – еще не убраны, а ТОЛЬКО отвалены в сторону.

Но очевидным опровержением этих надписей, еще вчера имевших полную силу, уже стала сама дорога. Тесно забитая машинами, подводами, встречными колоннами пленных немцев и возвращающихся из немецкой неволи людей, она дышит густой, сухой пылью от необычного для нее движения.

Липовые аллеи, прореженные и иссеченные артиллерией, всевозможное полузаваленное и вовсе заваленное траншейное рытье, воронки, нагромождения развалин – привычная картина ближних подступов к рубежам, за которые противник держался с особым упорством.

И на повороте свежая, не тронутая еще ни одним дождем, необветренная дощечка указателя: «В город».

В город-крепость, в главный город Восточной Пруссии, в ее столицу – Кенигсберг.

Давно уже не в новинку эти стандартно-щеголеватые домики предместий, старинные и новейшей архитектуры здания немецких городов, потрясенные тяжелой стопой войны.

Но Кенигсберг прежде всего большой город. Много из того, что на въезде могло сразу броситься в глаза – башни, шпили, заводские трубы, многоэтажные здания, – повержено в прах и краснокирпичной пылью красит подошвы солдатских сапог советского образца, мутно-огненными облаками висит в воздухе.

И, однако, тяжелая громада города-крепости и в этом своем полуразмолотом виде предстает настолько внушительно, что это несравнимо со всеми другими, уже пройденными городами Восточной Пруссии.

И так же, как в зрелище развалин, закопченных огнем, в грудах щебенки, загромождающих

улицы и проезды, мы не можем не видеть живого напоминания о разрушенных немцами городах нашей Родины, так же нельзя не видеть во всем этом живого подтверждения всеокулачивающей ударной мощи нашего оружия.

– Почтище Смоленска сработано, – вроде как шутки ради говорят бойцы, вступающие в улицы города. Но в усталом, суровом и прямом взгляде их глаз справедливое торжество и горделивое сознание собственной силы.

А сила эта во всем вокруг. И прежде всего в этом великом людском потоке, заполнившем узкие улицы чужого города своей слаженной, внутренне деловой суетой, словами команды, своей родной речью, песнями, музыкой, привезенными невесты из какой глубины России, своим большим воинским праздником победы.

Пехота на машинах, на броне танков и самоходных орудий, шоферы, дружелюбно перебранивающиеся из дверцы в дверцу, регулировщицы в форменных белых, немножко великоватых перчатках, мотоциклисты, верховые и пешие, – смотришь и невольно думаешь в простодушном и радостном изумлении:

«А и много же, ах как много нас, русских, советских людей!»

Так много, что хватает и на то, чтоб держать в полном рабочем порядке необозримый наш тыл, пахать землю и ковать железо; и на то, чтоб поднимать к жизни столько отвоєванных у врага городов и сёл; и на то, чтоб пройти столько верст, занять столько городов и земель противника, и на то, чтоб в три дня штурмом сломить сопротивление на таком вот рубеже, на такой точке, как этот город Кенигсберг; и на то, чтоб в первый же день по взятии города заполнить его такой массой людей и колес. На все хватает!»

Грохот боя, откатившийся уже далеко за город, не треножит разнообразного, делового и праздничного шума и говора на марше по главной улице.

Каких только лиц солдатских здесь не увидишь! И усаые, будто бы сонливые, но полные энергичной выразительности лица пожилых, и молодые, но успевшие возмужать на войне, по-мужски загорелые и по-солдатски серьезные, а все-таки юношеские, и белокурые, с чернью копоти на висках, и чернявые, припорошенные серой и ржавой пылью, и иные...

И на всех лицах – отражение дня большой и гордой победы.

Но город, там и сям горящий, там и сям роняющий с шумом, треском и грохотом сдвинутую огнем стену, там и сям содрогающийся от взрывов, – чужой и враждебный город. Он таит еще в теснинах своих развалин и уцелевших стен, в подвалах и на чердаках злобные души, способные на все в отчаянии поражения.

Группа бойцов-автоматчиков полубегом в тесноте уличного движения пробирается к переулку, где из окошек-амбразур полуподвала в безумном упорстве, возможно не знающие о полном поражении, немцы еще ведут пулеметный и винтовочный огонь.

Угломонить их снаружи оказывается довольно трудно с помощью одного только пехотного оружия. Тогда с истинно русской щедростью на них отпускается три-четыре снаряда танковой пушки – по числу окошек.

Слышно, как гремят раздельно, твердо и жестко выстрелы в упор. В переулке наступает, как у нас говорят, полный порядок.

У МОРЯ

До самого берега проехать на машине было нельзя. Оставалось каких-нибудь триста – четыреста метров, где не было ни дорог, ни объездов, ни даже проторенных троп. Местность представляла собой нечто вроде огромного двора, заваленного и захламленного всевозможным горелым и догоравшим ломом, трупами людей и лошадей и вдобавок перепаханного фугасками. Черепичная скорлупа битых крыш перемешалась с белой и синеватой землей, вывороченной из пластов, покоившихся на глубине ниже уровня моря, моря, что уже блеснуло за безобразными зубцами обрушенных стен и ломаным лесом мачт, труб и вышек пристани.

Дальше можно было пройти только пешком, как прошли здесь наши, добираясь до немцев, стрелявших, по выражению одного бойца, из воды, стоя по колено, по пояс в прибрежном мелководье. Надо было прыгать с камня на камень, с брони всаженного в землю танка на

гусеницу, расстелившуюся ровной дорожкой еще на пять шагов к морю, с гусеницы на бревна засыпанного блиндажа, по лошадиной туше, охваченной пламенем и уже затоптанной сапогами. Наконец, море у самых ног, море, окаймленное чуть видным леском знаменитой косы, замыкающей залив. Жаль, что оно не во всю свою ширь видно здесь.

Но все же море есть море. Голубое, близкое к цвету неба вдали и желтовато-серое, будто мыльное, у самого берега, оно тихо и мягко с присущей только морю скрытой силой и тяжестью поталкивает в каменную стену мола.

Немецкая каска, залитая наполовину, покачивается на мели, то черпая воду через край, то сплескивая ее через другой. Погромыхивают пустые гильзы оружейных снарядов, перекатываемые волной.

Журчит своим порядком весенний ручей, нечистый, как будто крашенный кирпичной пылью. Мокрое тряпье, рвань и неизменная плесень серого пуха, намокшего и подсыхающего на солнце по всему берегу...

И все же море есть море, и его сырой и солоновато-мыльный, здоровый запах перебивает, если близко стоять, тяжелые запахи всяческой гари и разложения, столь знакомые всем на войне.

– А я, знаете, впервые его вижу, море, – признался с некоторым смущением офицер, чьи бойцы первыми вышли на этот берег и теперь охраняют его. – Все, знаете, как-то некогда было. То учеба, то работа, то служба, то война... Вот уже сорок лет округляет ся, а моря не видел, какое оно.

И очень многие, особенно молодые наши воины, с этого моря начали свое знакомство с тем, что составляет половину красоты земной. У нас немало морей, но так велика страна, что можно прожить долгую жизнь, совершить не одно путешествие при современных средствах передвижения, прослужить заслуженно бывалым человеком и при всем том не успеть посмотреть моря...

Правее маленького городка с гаванью, которая была последней для немцев, припертых к воде, встретили мы на мысе Кальхольхольцер-Хакен троих наших бойцов, только что вышедших из боя, потому что не с кем уже было воевать на этом участке.

Невысокий, бледный от бессонья рядовой Михаил Медюк был из Белоруссии, сержант Николай Малышев, более видный, как говорится, со щеки парень, оказался волжанином, а высокий, но худощавый, под стать Медюку, Иван Шахлевич – не то из той же Белоруссии, не то с Украины.

Все трое – солдаты не первого года службы, люди, прошедшие из боя в бой от Москвы и Волги до этого Балтийского побережья, до этих болотистого вида камышей, откуда еще час назад в них стреляли немцы, – все трое видели море первый раз в жизни.

Может быть, лучше было бы увидеть его впервые не вдали от родины и не в горячке и напряжении трудного боя, а в мирное время с террасы дома отдыха на крымском или кавказском побережье.

Но если суждено всякому человеку запомнить навсегда день и час первой встречи с морем, то добытая с бою встреча сухопутных русских, белорусских и иных советских людей с этим морем будет самой памятной и самой гордой датой их жизни.

Право, жаль, что оно в этих местах такое неказистое, болотистого вида, и не дает глазу того неоглядного простора, ограниченного только небом, какой обычно волнует душу на морском берегу.

И все же это море, какое оно есть, будет для тысяч наших людей самым памятным и прекрасным. Они дошли до него, сражаясь за свои земли, они увидели его как знамение конца одной из самых жестоких и щедрых славой битв Великой войны.

И разве не освящены эти воды тем, что мы пришли к ним, творя наше правое дело защиты Родины и возмездия за ее страдания? И разве эта земля, чуждая нам по всему, что было на ней, не полита кровью наших братьев? А о земле, что полита родной кровью, что пройдена нашими, советскими людьми в трудах и испытаниях долгих и страшных боев. – о такой земле мы долго будем вспоминать.

На взгорке, круто обрывающемся к мелко-

водью поросшего камышом взморья, под березой, с трогательной опрятностью насыпанный и выровненный могильный холмик. На нем еще даже нет того скромного знака памяти, какие сооружают на войне из белых досок, фанеры и медных снарядных стаканов. Может быть, в полуразбитом домике, что стоит на южном скате этого взгорка, сейчас составляется надпись на фанерной дощечке и заодно пишется извещение родным либо близким об одном из тех, кто уже не уедет отсюда со своим полком или батареей на другой участок продолжающейся борьбы.

Кругом праздник. В домике с осыпавшейся черепичной крышей кто-то нащупывает на оставленном немцами пианино какую-то нехитрую, но милую сердцу мелодию деревенского вальса. В далекой Москве уже написан и подписан приказ о завершении борьбы на этом побережье, на этом мысе с длинным и трудным названием Кальхольцер-Хакен. И в приказе не забыты торжественные и строгие слова о вечной памяти бойцам, павшим в боях за свободу и независимость Родины на любых рубежах, в любых землях, у любых побережий...

Пройдут годы и годы, и пусть имя воина, еще не обозначенное на белой либо красной дощечке намогильного знака, уйдет из обихода списков, упоминаний, скажем просто – забудется. Но чье-то сердце, чья-то неостывающая любовь и память – матери ли, возлюбленной или друга – долго и долго будет тянуться светлым лучом с восхода к этому безымянному взгорку над морем, к этой могиле под белой березой – родным нашим деревом, выросшим так далеко на западе.

1945

Прошла война, прошла страда.
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.

Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.

Пускай всегда годину ту
На память нам приводит
И первый снег, и рожь в цвету,
Когда под ветром ходит.

И каждый дом и каждый сад
В ряду – большой и малый.
И дня восход и дня закат
Над темным лесом – алый.

Пускай во всем, чем жизнь полна,
Во всем, что сердцу мило,
Нам будет памятка дана
О том, что в мире было.

Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколения.
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье – не в забвенье!

(Из поэмы «Дом у дороги», 1942-46)

Валерий ГОЛУБЕВ

ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ, И – ПОМНИТЬ

(Мой блокнот)

Заметки, составившие эту подборку, – малая толика того, что осело с годами в журналистских блокнотах после встреч с фронтовиками, вдовами-солдатками, увиденного и услышанного. Ни одного эпизода и диалога выдуманного. За каждым – человек со своим именем и местом жительства. Со своими, только своими, судьбой и характером. Из этических и простых житейских соображений заменены некоторые имена или одна-две буквы в фамилии.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Девятого мая объявили по телевидению минуту молчания. В доме сразу все посуровели и замолчали. Испугавшись этих почти незнакомых, чужих вдруг людей, непонятной тишины, заплакал ребёнок. Все переглянулись, но продолжали молчать.

Ребёнок испугался еще больше, уже закричал. Мать молча, как немая, взяла его на руки, прижала лицом к своему плечу. Начался рёв. Продолжался он всю минуту, пока не дали отбой.

– Молодец, Федька! – похвалил внука терпеливый дед-фронтовик. – Озвучил память, воин!..

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ

– Товарищ капитан! Солдат Сунцов умер...
– Как умер? Почему умер? Когда умер?.. Умер? Своей смертью?

– Так точно. Умер, товарищ капитан. Схватился за сердце, ойкнул и отошел...

Капитан Переверзнев был растерян. Как сообщить семье Сунцова? Умер? Погиб?...

Шёл апрель 1945-го.

ПРОСЬБА

«Письмо в редакцию. Просьба. Мой друг по

фронту Бармин Михаил Лукьянович не пропал без вести, как когда-то сообщили его родным, а в ноябре при обороне станции Тепло-Горелово Елецкого района Тульской области был смертельно ранен разрывной пулей. Никто, никогда и нигде не считайте его без вести пропавшим.

Бывший фронтовик Солодянкин».

Кто таков у нас был «без вести пропавший»? Это, за редким исключением, либо дезертир, либо перебежчик, либо пленный... Всё одно «изменник Родине». Так считалось много лет по всяким ведомствам. Был он в открытом гонении у государства, мягче сказать – не в чести. Того, кто вдруг объявлялся, долго потом держали на коротком поводке органы. Даже панфиловца из тех 28, посмеявшегося оказаться живым, заставляли менять фамилию...

Потому-то, наверное, фронтовик Солодянкин и молчал тридцать лет. Докажи, попробуй, что его друг Миша Бармин погиб от пули в бою, когда есть официальное извещение: «Пропал без вести»...

В ПЯТИ САНТИМЕТРАХ ОТ «СТАТУСА»

Танкист-десантник Егор Мясников был всего в двух боях. Вынес он из них слов десять-пятнадцать. «Преисподня! Всё вокруг в огне, пахнет горелым мясом, жженой резиной...» Хватит.

Он трижды ранен. И все три раза – в одну, правую, ногу. «Интересно! – размышляет Мясников. – Я давно заметил, что чаще попадает не в левую, а именно в правую ногу. После стал присматриваться к хромым. Точно. Кто на деревянной правой, кто, опять же, под правую ногу ныряет тебе навстречу».

Нет, он не инвалид войны. Пять сантиметров не хватает до статуса. Если б нога была короче

на семь, а не на два сантиметра, – «тогда бы, конечно, другой коленкор».

Ходит ветеран тяжело, все время подстраховывается: не ступить бы с размаху на трижды израненную ногу. Вся нагрузка на левую, здоровую, которая с годами «стопталась, но не сравнялась». Обида та заскорузлая, но не ожесточился человек: «Шапку, а то и две, пожалуй, ещё и изношу».

ДВЕ СТАРУШКИ

– Сим, а про тебя народ-то вот что говорит... Будто ты свою медаль чем-то другим заработала...

Сказала и замерла. А Сима как... захохочет:

– Ой, Нюрка! Дело прошлое, да ведь и это правда! Сколько я их вытащила... и жалела мужиков, чего уж!..

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Боевой генерал приехал погостить в деревню, к сестре. Был он высок, в шаг тверд, в жестках степенен.

Вышел гость во двор покурить, вспомнил детство, разулся и ступил на траву-мураву. Идёт и повизгивает! От щекотки. Вот он, взмахнув руками, будто его подстрелили, подпрыгнул...

Такого чуда, чтобы мужика, да ещё генерала, трава подбрасывала к небу, в Ошарихе не видывали.

Вернулся генерал в избу. Сбил охотку. Сестра, выветренная годами и работой до праха, от русской печи несла в пригоршнях раскалённые угли. Ими она распалит самовар. Генерал присупил тяжёлую седую бровь. Он был смущен.

ЗА КАКУЮ ПРОВИННОСТЬ?

Бывший сапер Пажитнев колет во дворе дрова. Уже осень, холодно. Он без обеих ног, упёрся широкой спиной в угол сарая – и тюкает топориком по берёзовым чуркам. Управится с одной, подгонит кочергой другую. Дело спорится.

Но вот попалось полешко с сучком-обрубком. Завязывается поединок. Кругляшок упирается, встаёт «на попа», увёртывается. «Врёшь – не уйдёшь!» – грозит в азарте Пажитнев. Верх берёт он – не отступает. Полешко, подгоняемое кочергой, кувyrкается под его топор.

Время от времени воин отдыхает: примостится поудобнее в углу, упрётся большими кулаками в землю – для остойчивости... От шапки, сдёрнутой с головы, идёт пар.

Со стороны можно подумать, что в этот угол

его кто-то поставил в наказание. За какую такую провинность?..

Жестокое время. Жестокие картины.

ПРИМЕТА

Выходили из окружения. Днём прятались в перелесках, за болотными кочками. В одну из светлых ночей вышли на узкую полевую дорожку. Осмотрелись. Обжитая. Хоженная.

– Не-ет, – решительно сказал рядовой Емелян Егоршинов, уже в годах, рассудительный крестьянин. – Здесь прошли не наши. Немцы прошли.

– Как узнал? – насторожился старший группы младший лейтенант.

– По говну. Хлебное говно.

Свернули с дороги и, пригибаясь, побежали в сторону оврага.

ВСТРЕЧА

– Получила я, Федя, ту похоронку – и как иголку проглотила. Год в себя не могла прийти. Истаяла вся. Но одним горем человека не измеришь, жизнь не остановить. Вышла я, Федя, замуж. Купила ему, Николаю-то, тоже солдату своему, носки. Надел он один, и сразу распахивался. Вижу, полноска мотается. Купила – это уже после, ближе к зиме – валенки. Велики оказались. С рубашкой еще хуже дело вышло. Примерил он ее и утонул. Разнервничался, как никогда, снял в горячке обновку-то, наступил здоровой ногой на один рукав, а за другой рванул... Так и расстались.

– Да, – исказился в горькой и обидной гримасе Фёдор. – Я рослый...

ВОЙНА ВСЕХ ПРИМИРИЛА

Комсомолец и атеист Гриша Колупаев после первого боя прислал матери письмо. В тот же день читали его всей деревней.

Особенно запомнилось одно место: «Кто хоть раз ходил под прямую голую пулю, тот не может не попросить прощения у людей – все равно ведь кого-то обижал. Мама! Прости и благослови. Завтра снова в бой».

В деревне Гриша многих обижал. Комсомолец он был заядлый, и атеист воинствующий. Все агитировал своих ребят сбросить с приходской церкви крест. Двое все же поддались. Взяли в колхозе вожжи для страховки, русский инструмент – топор и лом. И устремились втроем в соседнее село, в Никольский приход. Старики пытались остановить их, но ни сил, ни слов не хватило.

И тут вдруг разразилась такая гроза, что те двое, подбитые Гришей, испугались и одумались – вернулись.

Многим чем еще таким запомнился он своей деревне. Никого не боялся! Знал: за ним, комсомольцем Колупаевым, стоит государственный интерес. Сила, которую не развернешь. Те, кого трудно в жизни сбить с ног, его жалели. А теперь и другие зла не держали. Война примирила всех.

Получила мать от своего боевого сына письмо и вся затрепетала. Вот и деревня знает теперь, что не такой уж он, ее Гриша, отпетый.

Ни прощения, ни благословения солдат Григорий Колупаев не успел получить. Не увернулся он от прямой голой пули.

Но не погиб. Вернулся в деревню из госпиталя с культей левой руки, да и правая была обеднана на три пальца: остались обрубок большого и нетронутый указательный, что и позволило ему «остаться в строю».

ПЛЕННЫЕ СЛОВА

Немцы сбросили на головы пехотинцев листовки: «До Сталинграда идем с бомбежкой, а после Сталинграда пойдем с гармошкой». Кто-то свой, гад, сочинил!

Тяжело было читать эти родные русские слова, но побывавшие на чужом языке, опоганенные. Пленные, в тылу врага, слова.

Читать-то читали, но дело в том, что подбирать вражеские листовки запрещалось. А рядовой Воропаев был малограмотным, листовку, на ходу подхватив, сунул в карман. И забыл про нее. Ну, конечно, узнали, обыскали.

Связист Ситников закончил войну капитаном. Вспоминая, до сих пор не может успокоиться: «Человек сам по себе любопытен, а тут с неба летело. Нас построили. Вывели Воропаева. Стоит иссиня-белый, весь трясется, но вину свою чувствует. Наш командир Штоков выстрелил ему в ухо. Подскочил замполит (фамилию запаматовал) и добил его. Воропаев только и успел сказать: «Зря...».

ЗАЩИЩЕННЫЙ НАВЕКИ

Первое время, напившись самогона, инвалид Алексей Пронин выходил на крыльцо барака и кричал, как с лобного места, в улицу: «Я урод? Урод?! Урод Отечественной войны, да?!»

В поселке никто, Боже упаси, его не упрекал. Да он и сам понимал, что напрасно шумит. Просто, напившись с горя, требовал к себе мгновенного уважения и законной жалости. А

пожалеть было за что. Пришел Алексей домой на одной ноге и, как сам говорил, «с вышибленным глазом».

Изловчившись, привез он в солдатской котомке костюм аж из самого логова – Берлина. Ясно, что в костюме том не ходил.

Жил инвалид Пронин в своем рабочем поселке лет семь-восемь, до смерти. Голубой глаз – родной, природный – успел за это время выцвести, потемнеть, а чужой, стеклянный, пригнанный в госпитале к живому, наоборот, как бы еще и поглубел.

...Лежал Алексей Степаных, защищенный смертью от всех земных бед, в глубоком узком гробу, в том бережном трофейном костюме (при пиджаке, оказывается, была еще белая рубашка с галстуком). На впалой его груди тускло мерцала медаль «За отвагу», похожая на большой серебряный царский рубль. Колодку с ленточкой, такую приметную, давно отцепил и потерял сын Колька.

Шестилетний этот Колька пришел с бабушкой в дом только в день похорон. Увидел он отца и обрадовался – таким красивым да нарядным его никогда не знал.

Приготовились к выносу. На малое время комната, где лежал усопший, опустела. Колька из любви и любопытства подошел поближе к отцу. И до крика испугался, выбежал во двор, к людям, и завопил в ужасе: «А он глядит!»

Все кинулись в дом. Алексей был бодр. Голубой стеклянный глаз, не без усилий накануне немного вдавленный и прикрытый холодным веком, весело и молодо глядел на всех.

СИНЯВИНСКИЕ БОЛОТА

– Синявинские болота! Сорок три градуса! Мо-ро-за! Плюнешь – летит на снег стекляшка. Слышишь?!

Старик горячится от задора, разжигается до отторжения собеседника, кричит уже для всех... Осколков в нем столько, что когда вернулся домой, иззубрил три бритвы. Это на лице. География же его ранений – по всему телу.

– Вот! – вскакивает он с расштанной скамейки. – Посмотри!

Рывком вздергивает широкую штанину выше колена, обнажая кривую бледно-голубую, как сабля, ногу: «Видишь?!»

Икра ноги стесана чуть не до кости.

– Осколком.

– Адриан! – кричит, открыв окно во двор, старушка. – За внуком-то сходил?

Андрюша сбрасывает штанину, раскачивает

сухую руку, рывком подбрасывает ее к глазам, смотрит на часы. Часы тяжелые, как литые, со сложным циферблатом – «Командирские». Все уже знают: по случаю Дня Победы, юбилея, вручены они представителем военкомата капитану Андриану Мартынову. «Чтоб, значит, знал, сколько живу...»

Вдруг осунувшийся, погасший, он уже мироительно заканчивает беседу:

– Послал треугольничек – спасибо, мол.

СМЕРТЬ ГЕРОЯ

Сколько лет деревне, никто не знает. Может, двести, может, четыреста. А может, и все шестьсот, как самому городу, под боком которого она примостилась.

Строго говоря, деревни давно нет. Вряд ли кто живёт в тех четырёх почерневших, скособоченных избах. Но в списках она значится.

Когда-то тут шумела-ярилась жизнь. Что это так, не надо никого спрашивать. На самом высоком – красном – месте, теперь уже за околицей, в поле стоит высокий, присевший на угол, будто решил немного отдохнуть от караула, памятник воинам-сельчанам. На его четырёх гранях выписаны шестьдесят три фамилии! Не по алфавиту, а по числу прожитых каждым лет, по старшинству. Алфавит и не нужен: все они на одну букву – Бздюлёвы!

Вот Россия! Рядом с Романовыми, Преображенскими, Жуковскими – они, Бздюлёвы. Не посрамили Отечества. Ещё не осыпалась надпись-эпитафия на памятнике: «Они сражались за Родину. Вечная слава героям».

Да: низкий поклон вам, солдаты деревни Бздюли. И вечная память.

Вечная? Уже нет деревни, разрушается в поле памятник. Да и фамилия теряет букровку за букровкой. В Вятке можно встретить Бдюлёвых, а можно и Дюлевых.

Шестьдесят три Солдата!..

Одна деревня, одна фамилия, одна судьба...

И принять их всех можно за одного воина, коллективного героя, уходящего в родное чистое поле...

В забвение.

НА ПРИЦЕЛЕ У СВОИХ

Уже после ранений и контузий, ожесточившись, воевал Александр Альгинов в армейском заградотряде.

Альгинов не сразу говорит об отряде. Вспоминает товарищей, эпизоды, не связанные с ним, с отрядом. «Идёшь в атаку, как бык, ог-

лушенный обухом. Глаз на глаз идешь, на расстрел!».

– Ржев! – вскидывается он вдруг. – Деревня Ново-Ожобоково! Крошиловка!

Сжал единственный свой сухой крепкий кулак так, что тот скрипнул.

...Марш-бросок к деревне опоздал. Видят они: люди побиты, стояли насмерть. Заслонили собой рубеж.

Отряд отошел. Не надо было стоять за спиной и ждать, когда солдаты дрогнут.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Награды свои старый солдат не носил. Ни случая особого, ни соблазна не было. Хотя видел, что многие его сверстники в последнее время как бы осмелели, достали свои «иконостасы» из коробок. Разное было отношение к наградам. Даже припомнился момент, когда боевые медали с профилем генералиссимуса Сталина ветераны, перевернув, носили наизнанку. Правда, дурь та скоро прошла: медали вернули на исходный рубеж.

На праздник пехотинец Дернов приладил к своему выходному пиджаку два ордена и шесть медалей – все, что имел, – приладил вперемежку, как попало. Вспомнил же о них утром, когда услышал по радио песню с настойчивым призывом: «Фронтовики, наденьте ордена!».

Вышел он при своем параде во двор, присел на скамейку, огляделся. Первым его увидел молодой военкоматский майор, сосед по лестничной площадке. Сразу же все оценил: «Дернов! Какой возмутительный сумбур на вашей груди... У каждой награды есть свой статус. Во всем должен быть порядок».

Ветеран опешил. Он еще с войны побаивался офицеров, хотя стычек ярких с ними не было. А тут вот, точно новобранец, напоролся. Пока собирался с мыслями, как ответить, майор загасил окурок о каблук ботинка, зажал его в кулаке (урны рядом не было) и, перепрыгивая через лужи, побежал к автобусу.

День только начинался. И будет еще время у Дернова поднять себе настроение.

У МЕМОРИАЛА

Назойливо-пьяный мужичок пристаёт к людям, пришедшим к мемориалу. Ему бы поговорить, душу отвести. Имеет право!

Всю зиму просидел он в своем железобетонном пенале – однокомнатной квартире на пятом этаже. Сегодня его день. На улице сорит по-комариному мелкий холодный дождь. Му-

жичок с утра выпил «наркомовские» сто граммов, для нормы – добавил, а при выходе, «на дорожку», норму перекрыл. Надел плащ-накидку, подаренную внуком-лейтенантом, и поспешил к мемориалу.

Еще три-четыре года назад сержант Дубовцев встречал здесь своих однополчан. Не осталось ни одного. Вот он, отчаявшись, подбежал-подсеменя к кряжистому мужику в синем прорезиненном плаще до пят, с розой, которую тот высоко, как факел, нес перед собой.

Никак нездешний. В последнее время старые солдаты, на исходе жизни, часто приезжают из разных городов России в Калининград – поклониться праху боевых товарищей, павших при штурме Кенигсберга. «Поговорить бы надо, – дернул Дубовцев за рукав мужика с розой. – А?» Тот не удивился и довольно угрюмо спросил: «О чем?». И пошел дальше.

Нервы сержанта, наконец, не выдержали, он психанул: «Есть о чем! – закричал. – Воевал! Не хуже твоего! Вот...» Обогнал незнакомца, сорвал перед ним плащ-накидку: «Четыре ордена и медали! Это тебе...»

– На! – не менее гневно психанул мужик. Он распахнул плащ так, что помял розу. Грудь его была прикрыта тяжелым щитом из орденов и медалей, как закована.

Осечка!

Все-таки в жизни бывают случаи, когда человек, не доверяя, с иронией скажет: «Как в кино!».

Вот он, тот случай.

Дубовцев отскочил на шаг, хотел выматериться, но вдруг – как в кино – внимательно

посмотрел на обидчика, насутился, сдерживаясь... и спокойно, будто только вчера с ним расстался, сказал: «Узнаю тебя, Коля».

Мужик вздрогнул, насторожился, цепко взгляделся и, страдая каждой морщиной, спросил шепотом:

– Вась, ты?..

1418 ДНЕЙ ВОЙНЫ

Бухгалтер птицефабрики Алфей Игумнов, инвалид, оставшись один в конторе, расслабился, вспомнил боевых товарищей. Опечалился. Не все вернулись...

В эти минуты по радио шла передача «Никто не забыт...»

Алфею стало еще печальнее. Он уже вспомнил всех погибших рядом. А двадцать миллионов! Бухгалтер немного подумал и решительно придвинул счеты... У него получилось: в среднем погибало в день пятнадцать тысяч человек. Если каждого солдата помянуть минутой скорби, пришлось бы молчать всем тридцать восемь лет...

Алфей Игумнов с размаха сбросил костяшки ребром ладони и застонал в глухонемом мычании.

* * *

Двадцать миллионов... Долго и упорно держалась эта цифра в народе. К округлым цифрам привыкать легко. Теперь называют другую – двадцать семь миллионов.

Полвека молчания.

1963-1997



Вячеслав КАРПЕНКО

ОСВОБОЖДЕНИЕ

(Из романа «Василий Скуратов, сын Бектаса...»)

МОИ «КОМАНДИРОВКИ»

...Концлагерь в Герлице был построен сразу по приходу фашистов к власти в Германии и занимал не меньше десяти гектаров. Немало для страны, где каждый клочок обрабатывается и на учете!.. А сколько их было по всей Германии?.. И в них содержались рабы двадцатого века со всех стран. Сплошные корпуса-баракы окружались капитальной кирпичной стеной, на которой густо располагались вышки с пулеметами и часовыми. Да еще по всему периметру наружных стен проходила колючая проволока с пропущенным по ней током. Лай множества сторожевых собак был будто природным. Не менее ста тысяч военнопленных всех государств Европы томились здесь постоянно. Прибывали – убывали. Прибывали – убывали: в другие лагеря, в рабочие команды, в шахты, на заводы, фермы и – на кладбище, на кладбище, на кладбище. Иного конца фашистами не подразумевалось...

Советские военнопленные занимали отделенные от корпусов других иностранцев баракы на южной стороне, вдоль проволоочной стены круглосуточно ходили часовые – общение русских с другими и здесь запрещалось категорически.

На второй день я зашел в лазарет и нашел друга нашего Ивана Медведчика. Прочитав его записку, лазаретный доктор сказал, что определит меня санитаром, а за счет отказа от пищи тяжелобольных и умирающих я здесь смогу подкормиться.

Здесь же в лагере я столкнулся с товарищем, временно списанным из-за перелома ноги из нашей команды еще месяца два назад. Николай (а может быть, у него настоящим было другое имя – правильных фамилий мы зачастую не знали, все различались по номерам) был, кажется, карел или финн, он обрадовался мне – знакомые. А мне товарищ показался опухшим.

– Что с тобой? – сказал я ему.

– Да нет, – засмеялся Николай моему «диагнозу». – Не «опухший» – поправился.

– Это каким же образом? Здесь-то?

– А я в заграничку пикирую, вот и перепадает...

– За какую еще «границу»? И что это – «пикируешь»? – спросил я.

– Риск, конечно... а как иначе проживешь? Ну-у, к иностранным военнопленным пробираемся, кто умеет. Они нашему брату помогают как могут – продуктами, в основном баландой, она у них остается, картошкой, кусками хлеба. И сигареты дают. Они-то посылки получают, даже почту! И Красный Крест им продукты посылает... Их-то родина не прокляла!..

– Ты меня, Коля, тоже научи! Лучше так пусть подстрелят, чем опять с голоду пухнуть... совсем уже сил нет... А насчет родины... ты её с государями не путай, на горечь да зависть не траться, дома ждут нас...

– А как у тебя с марками? Сколько?

– Идем! – сказал он, когда я показал свою наличность. – Одеться надо прежде всего!

На мне была наша солдатская шинель, брюки полосатые, видные издалека. Мы здесь же и пошли на внутрилагерный базар, где марок за сорок торговали французскую шинель, френч с брюками и югославскую пилотку. Чего-чего, а готового солдатского обмундирования немцы по европейским интендантствам захватили достаточно, даже военнопленные ни в верхней, ни в нижней одежде не имели недостатка. Так что маскировку мы с Николаем завершили успешно, и он посвятил меня в хитрости «пикирования».

Кухня располагалась на территории иностранцев. С утра порожние «кибели»-бочки относили на эту кухню, а к обеду их наполняли баландой и приносили к нам. Бочек много – штук двести, поэтому конвоиры заставляют пленных собираться вместе у ворот, чтобы эту выстроенную команду отвести на кухню и затем назад,

на «русскую» территорию. Назавтра я с моим наставником уже были у ворот среди этой команды. Собирается заключенных всегда в два раза больше, чем нужно, поэтому приходится не зевать: у многих та же задача, «спикировать за границу».

Конвоиры стараются отогнать часть «добровольных командировочных», в одну пустую бочку вцепляются два, а то и три пленных. И многие все же проходят, проскочил и я с пустым кибелем. Смотрю в оба: вот некоторые из товарищей, пользуясь моментом, когда конвоир отвлекся, бросают бочки и разбегаются к иностранным баракам. Выбрав момент, следуя их примеру, и сам вильнул, метров через сто вбежал в первый же барак. «Гутен морген», – поздоровался, сел на скамью отдышаться – смотрю, куда же и к кому попал.

Близко иностранцев я и вообще впервые видел, по форме понял, что французы. Подходят они ко мне, смотрят, качают головой, переговариваются – и не мудрено, ходячий труп в гости пришел, кожа да кости... И... отходят, никто мне ничего не предлагает. Думаю, неужели не понимают, что голодный, го-лод-ный я!.. И собираюсь уходить, не кланяться же.

– Сецын, майн камрад аллес комен... ессен, – говорит здесь мне один из французов.

Немного погодя его товарищ пришел – они вместе столовались, и ключ от ящика с продуктами был у него. Складывая отдельные немецкие слова, объяснил я, что долго был на немецких работах, слава, мол, богу, что хоть таким в живых пока остался...

Выложили они на стол вареный картофель, сыр, хлеб, принесли фашистского кофе, усадили меня и начали угощать. Здесь и другие французы стали подходить к нашему столу – кто несколько картошек, кто кусок сыра, хлеба, а кто и пачку сигарет подает. Конечно же, не стал я объяснять, что так и не научился курить: все складываю в противогазную сумку, которую мне раздобыл Николай.

– Данке, – говорю. – Данке, данке шон...

К вечерней проверке нужно любым путем вернуться в свой барак. Как-то трое наших по какой-то причине не смогли попасть назад и остались на ночь. А когда немецкий патрульный обход обнаружил их в уборной, то фашисты, выведя ребят, предложили им бежать в сторону ворот у кухни. И дали очередь из автоматов...

Для возврата было в основном два пути. Вечером под конвоем группа пленных приходит уже за ужином. Но присоединиться к ним у кух-

ни могут незаметно только немногие: в группе носильщиков кибелей охотников обычно больше, чем надо, – ведь те, кто приносит на себе бочки с баландой, получают на черпак супа больше.

Другой путь – пристроиться к небольшим рабочим командам нашего лагеря, возвращающимся вечером. Здесь легче затеряться, этот путь вернее, но и есть постоянная угроза получить от конвойного удар прикладом, да еще и передаст он тебя в комендатуру. А там уж добра не жди, в лучшем случае получишь десять дней карцера, где в сутки дают двести граммов воды и сто – хлеба... А «пикировщиков» ежедневно прорывается до сотни человек, а то и больше...

Первый день моей «заграничной пикировки», что говорить, оказался удачным. Теперь я сказал себе – ничего, можно попробовать прожить дальше. С набитым до отказа пузом и противогазной сумкой я поджидал возврата рабочих команд, которые после прохода в основные ворота должны пройти еще одни, внутренние, в русский лагерь, здесь-то и надо ловить момент.

Едва колонна начала проходить, гляжу – то один, а то и по несколько выскакивают из своих укрытий пикировщики. Конвойные подбегают с руганью, прикладами кого-то отгоняют от команды, а кто и проскакивает, отогнанные стараются обежать, чтобы еще попытку сделать, иначе возникает угроза остаться у иностранцев и попасть в комендатуру, а то и еще хуже...

Подбегаю и я, вижу – конвойный уже примеряется. А у меня пачка сигарет в руке, я эту пачку ему в карман сунул, другой рукой еще пачку достал из сумки. Потом-то я понял, что это уже перебор, – лишняя щедрость тоже ни к чему, с первого перепугу она: у немецких солдат большая нужда в куреве была. «Парфлюк, парфлюк!» – громко кричит на меня конвойный, но прикладом уже развернул меня и пхнул так, что влетаю прямо в строй. Что и требовалось. Иду теперь на равных через ворота, а потом и в свой барак.

После возврата с такой добычей к пайковой своей баланде я уж не прикасался, отдавал товарищам по койке, бараку. Часть курева тоже, но хоть пачку да держал теперь про запас – позже порой ее хватало, чтобы просто отдать часовому у внутренних ворот, а тот отвернется, пока ты проскальзываешь к иностранцам.

Чем больше проходило дней, тем больше открывал я для себя способов «пикировки». Если не через кухню, то лазейка открывалась баней, она находилась на смежной территории

за нашими воротами, туда ежедневно водили наших. Видишь строй в двести-триста человек, построенных конвоем, подходишь к конвою: «Мейн филь лаус!...» А сам чешешься, чтобы нагляднее было – да, много вшей. И пристраиваешься к банной команде.

Когда проходим ворота, то в баню надо направо, а к иностранным баракам – налево. Сперва пристраиваюсь в колонне с одной стороны – где разрешили конвоиры и где могли запомнить тебя, а по ходу перестраиваешься на другую сторону. Вот здесь особо помогает приобретенная чужая шинель: выбираю момент, будто по команде поворачиваюсь кругом и иду прямо на конвоира в сторону «своего» лагеря.

Спокойно так идешь, еще и руки в карманы или за спину заложишь – чтобы и мысли немцу не пришло, будто на него советский пленный идет, вальяжно так-то. Чаще всего здесь же, возле бани, кто-нибудь из иностранцев набирает в ящики уголь или брикеты, которые им разрешалось брать для «домашних кухонь».

Поворачиваюсь так, чтобы не попасть под взгляд конвоя, и отталкиваю одного из несущих от носилок. Впрягаешься без вопросов и удивления – товарищи-иностранцы ведь понимают, зачем этот маневр. Освободившийся сразу принимает роль старшего и начальственно идет рядом до самого их барака.

Иногда еще с вечера готовили себе проходы понизу круглой заградительной проволоки, на которой были развешены побрякушки – лишь тронь. Но все же часть уходила и здесь – пока часовой в другом конце заграждения, несколько человек обязательно юркнул на другую сторону к иностранцам. Так и прокармливались, поддерживая силы и все время надеясь – ведь слухи о победах наших, пусть и неполные, случайные, все же доходили. Да и по настроению конвойных тоже можно было понять многое – в большинстве-то это были простые солдаты, будущее которых становилось все неопределеннее...

Однажды, когда я немного окреп благодаря всем ухищрениям ежедневных пикировок и помощи иностранных собратьев по неволе, захожу в клуб советских военнопленных. Да, был в Герлицком шталаге и такой, занимал этот клуб целый барак, здесь даже устраивались порой спектакли силами военнопленных. А немцы включали наш клуб в свой «спектакль» – демонстрировали представителям международного Красного Креста «гуманность» по отношению к советским военнопленным. Кладбище,

видимо, в этот «спектакль» не вписывалось...

Так вот, мне сразу бросилась в глаза русская тройка лошадей, нарисованная каким-то любителем во всю стену этого помещения. Здесь же на скамье сидело несколько наших и рядом – немецкий фельдфебель.

– Вот так тройка, – невольно вырвалось у меня. – Где это художник такую видел? Вырос, небось, когда крестьяне пехом ходили, а то на коровах ездили. Это ж разве кони...

– Это ваша правда, – встает тут фельдфебель и на русском подтверждает мои слова почти без акцента. – Я тоже согласный, что художник не видел русской тройки... настоящей!

– Герр фельдфебель, – удивляюсь я. – А вы-то откуда русскую тройку знать можете?

Оказался тот фельдфебель чуть не «земляком» моим – как военнопленный попал в Усть-Каменогорск, после Первой мировой и революции женился на русской из Омска, а потом жил и работал в Новосибирске на пивзаводе. Уже в тридцать девятом, когда по заключенному с Германией договору состоялся обмен граждан, он переселился с женой и четырьмя детьми к себе на родину. А вот теперь служит главным переводчиком в среде советских пленных...

Еще в пятнадцатом году я встречал у нас военнопленных, часть их жила даже в моей Бухтарминской станице, где для них на устье речки Селезневки были построены хорошие бараки. Ничего те пленные там не делали, разве что кто-то по своему почину нанимался или огородик обрабатывал: жили без конвоя, жрали что хотели и сколько желали, да еще ухаживали за безмужными – солдатками и просто одиночками, чьих женихов убили, – русскими женщинами!

С этим я на него здесь же и обрушился, не боясь и не стесняясь, раз он так хорошо изучил русский язык.

– ...Только из нашего лагеря мы после утренней проверки прощаемся с десятками товарищей, трупы которых отправляем для захоронения! Думаете, обыкновенные смертные? Не-ет, от голода, от скоротечной чахотки, от побоев... Вот и сопоставьте, как наш народ к вам относился... еще и жалели, небось... и как – вы... цивилизованная нация, так бы вашу душу с вашей культурой!..

– Да-а, – фельдфебель слушал меня терпеливо, я по глазам видел, что он мается, и не боялся, что он потом доложит. – Что ж, мы в период плена жили в России очень хорошо – правительство царское по пятнадцать рублей в месяц выдавало на содержание, да баран тогда не

больше трех рублей стоил... Правильные обвинения, да что говорить... время другое, люди... не те. Все же часть вины вы меня... да – с меня снимайте: всем вашим пленным известно, что лагерь в Герлице один из лояльных. Здесь и моя работа; не забыл я... как это? – русский хлеб и соль. Да я почти один на весь лагерь, всего не успеешь...

Часа два мы с ним проговорили. Настроение в Германии стало совсем другим, победительский угар давно прошел, а фронт приближался. «Что может сделать маленький человек? – говорил мой собеседник, как, впрочем, говорим мы все во всех концах земли, где появляется диктатор-самодержец и преступная клика легче объединяется вокруг него, чем сопротивление. – Дрожишь за семью, детей. Ничего не можешь... только остаться честным». «Лояльность»... н-да, хоть так: если ловятся при побеге советские военнопленные, то всегда называют Герлицкий шталаг... для возврата. Здесь остается еще шанс выжить.

В чем я мог убедить фельдфебеля? Он не забыл меня и помнил о нашем разговоре, и то хорошо.

Почти три месяца находился я в этом лагере, и всего семь дней из них не удалось мне проникнуть за барьер, установленный охраной нам, русским. Думаю, немцы не столько опасались «экономической» поддержки нас иностранцами, сколько самих контактов, понимания и самого фактора солидарности, которая неминуемо возникала между людьми, угнетенными единой опасностью унижения человека.

Наверное, человеческие чувства невозможно выбить никаким насилием, эту «заразу» сочувствия и человечности фашизм не мог выкорчевать и из собственного народа, пусть и одурманенного на время или запуганного. Ничто не удержится на штыке, насилии, жестокости – это проверено историей... И нашей.

Однажды я решил пробраться через проход, сделанный нами в заграждении колючей проволоки. Лаз был широкий, метра три, но низкий, чтобы оставался как можно незаметней. Едва прополз половину, как чувствую, нарвался – френч прихватила колючка. Дернуть нельзя, погремучки наделают шума, ни вперед, ни назад. А вдоль стены прямо на меня идет часовой. «Ну, капут, – думаю себе почти равнодушно. – Отпикировал...»

Но этот добрый – а как его еще назвать? – часовой не дошел до меня метров пяти, увидел – мы даже встретились глазами... и повернулся, уходя обратно вдоль своей стены. Едва он уда-

лился, я дернул так, что вырвал клоч материи, убежал... к иностранцам, конечно, не теряя же из-за минутного страха лишний шанс....

На случай бомбежек лагерь перерезали и опоясывали глубокие окопы, в которые мы и уходили, набивши желудки и сумки. Ожидая удобного времени, рассаживались в этих укрытиях, словно профессиональные нищие со своими торбами – кто еще ел, кто курил, а если позволяла погода, еще и дремали.

Что еще, кроме отчаяния и такого естественного желания жить вопреки всему, могло толкнуть на это унижительное в общем-то, попрошайничество. Пусть даже эта помощь шла от души: и добродушные бельгийцы с голландцами, и неунывающие французы, и немного чопорные англичане, сдержанность которых могла сойти за высокомерие, – все старались нам помочь. Не говоря уже о югославах, в бараках которых звучало общее слово «братишка». Все они поддерживали и посаженных в карцер, подкупая часовых: карцер находился тоже на их территории.

И все же – постоянный риск, как и ежедневные новые могилы. Как-то неудачливый военнопленный попытался прорваться через ворота, не обращая внимания на часового. Один не пускает, другой рвется, словно в затмении. Немец дошел до белого каления и пырнул несчастного штыком. А когда раненый отскочил, то слабо закрепленный штык остался в лямке. Так со штыком и пустился наутек, часовой с винтовкой – за ним. Наверняка решив, что немец хочет его добить – стрелять в большой толпе не разрешалось, – несчастный убежал, пока не обессилел. С руганью наконец догнал его часовой, выдернул свой штык. А раненого ребята увели в лазарет.

Иной раз, когда наших много прорвется к иностранцам, немцы устраивали по баракам и окопам облавы с собаками. Эти собаки умудрялись выбирать нас даже в толпе иностранцев...

Отловленных приводят под конвоем в комендатуру, где наказание определялось зависимо от того, сколько раз попадался – у немцев всякая регистрация была налажена. Пять суток, десять карцера... Несколько раз попадался и я, но мой «земляк»-фельдфебель без особых нотаций говорил конвоирам, чтобы меня «выбросили на волю». Получив все же хорошего пинка, я пробкой вылетал из дверей комендатуры и неся в свой барак...

Что война немцами проиграна, мы ощутили еще и потому, как однажды во время утреннего построения кто-то из администрации произнес

целую речь, уговаривая не нарушать режим, меньше «гулять» за границу и... не подвергать себя риску. «По инструкции охрана не несет никакой ответственности за убийство или ранение при нарушении режима. Так вы недавно похоронили своих товарищей... при попытке к бегству. Война идет к концу (правда, в чью пользу – сказано не было, да кто же не поймет!). Нужно беречь себя! Вы много пережили, теперь осталось недолго...» Так сколько же? Шел конец сорок четвертого...

И не знал еще я, что трагедия войны может коснуться даже животных, да еще и с детства мне родных – лошадей. И не отдельных – целой породы, а что такое племенное коневодство, не мне ли знать – с обоих боков по родове на конях держались. Веками отбор тот шел, чтобы красоту и резвость у коня иметь. Но это чуть позже пришло, хотя и здесь – в неметчине. Пока же – выжить, вопреки всему и судьбе назначенной...

ДОКТОР

За эти месяцы я часто встречал лазаретного врача, предложившего мне место санитаря, но мой источник существования меня устраивал. Вскоре я смог передать от него обратный привет нашему доктору Медведчику.

После Нового года, и моего ведь сорок пятого, меня вновь направили в свою рабочую команду в Вальденбург. Снова начался изнуряющий рабский труд в карьере, хотя теперь-то я уже рассчитывал дожить до освобождения.

Рядом с нашим лагерем, в каком-то километре, в бараках жили вольные рабочие – поляки и чехи. Медицинскую помощь им оказывал наш Иван Иванович, который без конвоя уходил в те бараки. И всегда носил с собой огромную сумку-сидор, куда помещалось чуть не два пуда продуктов и почти ведерный котелок с крышкой. Здесь он принимал все – куски хлеба, картофель, суп сливался в котелок. А возвращаясь, приносил в наши бараки, где распределял меж обессилевшими от недоедания. Едва слабый товарищ хоть немного приходил в себя, доктор переключал свое внимание на более изнуренного. У него был и еще один способ помощи: своими добрыми руками (не хирурга ли?) одним лишь ножом выделял он из дерева детские игрушки – курочек с цыплятами. Эти игрушки через рабочие команды позже обменивались у немецких женщин на разные продукты, которые тоже назначались ослабевшим.

После возвращения на родину я несколько раз пытался восстановить связь с нашим до-

ктором, писал по адресу, что он мне дал, но все безрезультатно. Мне было тревожно за него, хотя он вернулся еще молодым – едва тридцати лет. И только в мае шестьдесят девятого года его сестра решила мне написать из города Гогичая в Азербайджане, что наш Иван Иванович умер еще в пятьдесят втором где-то на севере. Но фотография доктора, которому многие наши люди в плену обязаны жизнью, хранится у меня...

И здесь пропущу-ка я несколько лет, оставив себя в немецком шталаге, потому что комок в горле стоит и не могу иначе смотреть на эту фотографию доктора, как с недоумением и тревогой – за страну, конечно, за которую воевали, терпели плен и унижение, и товарищей хоронили в неизвестности... И поеду с ним в другом зарешеченном «телятнике»: но уже по своей земле, на север, в Коми республику, где по лагерям сгнуло немало страдальцев, без вины виноватых. Среди своих ведь погибали... И вспомнилось мне: «В Сибири хоть среди своих помрем...». Для Медведчика это оказалось слабым утешением. Скорее наоборот: из письма сестры я понял что именно жестокость «своих» ускорила смерть доктора, совсем еще пожилого даже – ему только немного за тридцать-то и было...

«НА-А-АШИ!»

Откровенно говоря, кому нужны были эти топорные детские игрушки, которые делали и другие пленные? Но мир человеческий пестр, и подогнать под одну гребенку его никому еще не удавалось. Вот и немецкие женщины отдавали нам за них продукты, хотя и им, и детям запрещалось давать пленным что-либо из съестного даже в виде милостыни. Но все же находились мастера и конвоиры, которые закрывали глаза даже при обмене на белье, а если вблизи не предполагалось большого или маленького, но вредного начальства, то и разрешали развести костер или просто заводили в закрытое место: «Сидите, мол... до сигнала».

И хоть изоляция выглядела строгой, но мы почти постоянно оказывались в курсе положения на фронтах: через газету украинских националистов, из разговоров с поляками и чехами, с которыми изредка сталкивались на работах, даже через немецких рабочих и наших же конвоиров. На основе всех собранных за день данных и слухов к отбою составлялись подробные сведения, и в каждом бараке определенными людьми сообщалась информация, она обсуж-

далась, строились предположения, поддерживались отчаявшиеся.

И хотя поправка, вырванная мною в Герлице за четыре месяца работ, снова сменилась истощением, дни нашего заключения подходили к концу. Это ощущалось еще и по нервозности начальства.

Но в самом деле для нас положение становилось все сложнее и неопределеннее именно с приближением фронта. Возникла опасность, что и в последние дни мы могли погибнуть даже и за несколько часов до возможного освобождения.

Где-то за месяц до нашего освобождения нас перестали посылать на работы. Днем мы слонялись по лагерю, пытались разобраться в самых противоречивых слухах, а к вечеру, еще и при дневном свете, нам приказывали снимать всю верхнюю одежду, которая складывалась в тамбуре, – в одном белье нас запихивали по своим камерам-баракам, окованные входы закрывались на засовы и замки.

Через Вальденбург непрерывно двигались на запад отступающие немецкие части, эвакуированное население сплошным потоком ехало на машинах, подводах, просто пешком с ручными тележками. Для беженцев невдалеке городскими властями были сооружены бараки для стоянки, отдыха, питания.

Кто мог поручиться, что отступающие эсэсовцы, не считаясь с охраной, не уничтожат нас в озверении последнего отчаяния? Да и за самих конвоиров трудно поручиться, что может взбрыгнуть в голову при такой неразберихе... Мы среди своих товарищей сами разъясняли опасность теперь любых столкновений, стараясь избежать ненужных жертв от озлобления конвойных команд, уже озабоченных будущей ответственностью.

Эти предосторожности, очевидно, сработали не везде: совсем незадолго до освобождения в других бараках нашей команды, находящихся на другой стороне химзавода «И. Г. Фарбениндустри», конвойные забили до смерти пятидесятилетнего казаха из Яны-Курганского района Кзыл-Ординской области...

Нам объявили, что в любое время в пешем порядке мы должны быть готовы под конвоем уходить на запад, даже осмотрена одежда, обувь – заменили старое и разбитое, подготовили сухой паек. Мы знали, что многие не выдержали бы длительного перехода, а со слабыми и отстающими в таких случаях разговор короток – перестреляют, как собак.

Ждем дни, недели: каждую ночь, преник-

нув к решеткам, видим и слышим в стороне Бреслау артиллерийские залпы, это километров семьдесят на север от Вальденбурга, но в нашу сторону почему-то не приближается. А совсем не исключено, что нас попросту расстреляют в закрытых бараках из пулеметов на вышках, мы находимся под их постоянным прицелом. Потому в эти ночи мы организуем дежурство возле окон и наблюдение за поведением охраны.

И вот через нашего связного Юзика – советского военнопленного-поляка, который был переводчиком, – получаем по цепи сообщение: нынче ночью конвойная команда снимается и уходит, а мы остаемся в бараках до прихода Красной Армии. Наши завтра должны быть в городе!

Сообщение передал Юзику один конвоир, который попросил гарантий безопасности со стороны военнопленных: тогда он готов дезертировать, остаться в городе, а у коменданта выкрасть все ключи от ворот и бараков. Из нашей команды через Юзика наиболее авторитетными товарищами была обещана немцу полная неприкосновенность. Знали об этом пока по несколько человек из барака, чтобы не поднимать лишней суматохи в последние часы.

До поздней ночи слышались громкие разговоры, отрывистые слова команд, окрики, лай собак. Потом все смолкло. До самого рассвета мы прислушивались, не смыкая глаз, в любую минуту ожидая самого худшего. Наконец пришло чистое солнечное утро, с рассветом все же становится легче на душе, хотя по-прежнему сидим под замками.

И вот смотрим: приоткрываются наружные ворота, а от них к баракам идет человек в штатском и один за другим начинает открывать засовы – ключей у него полные карманы.

Только теперь начинаем понимать, что это не сон, а явь – мы на свободе. Все высыпают наружу, у многих слезы. В городе, по всему, немецких солдат уже нет, нет пока и наших войск. Откуда-то издали немцы дали несколько артиллерийских залпов по Вальденбургу. И снова наступила настороженная тишина, никакого движения.

Впервые без конвоя мы пошли на кухню. Там остались только две женщины: «Остался только картофель... будем варить для вас». Нашлись и свои повара. А кто-то из товарищей уже набрал возле кухни очистков, принесли во двор лагерь, все еще оглядываясь, стали мыть, варить в ведрах. Пришлось опрокинуть это варево рабочее.

В одной стороне разобрали заграждение, чтобы свободно выйти на шоссе навстречу нашей армии. А вот уже принесли с кухни картофель и кофе, хлеба не было, но зато картошки съели сколько могли, не меньше литра каждый выпил кофе. Животы у многих раздулись, военнопленные, от которых оставались только кожа да кости, стали и вовсе походить на рахитиков, хотя наш доктор убеждал не дорываться так до еды...

И вот – наконец: с северо-восточной части города в нашу сторону движется танковая колонна. Наши-и-и! От лагеря шоссе всего метрах в двухстах, и все кинулись навстречу танкам, перегородив дорогу.

Наверное, со стороны смотреть на нас было тяжело: восторг изможденных людей, их счастливая истерика вызывали у танкистов самые разноречивые чувства. Жалость и смех, недоумение, ужас и брезгливость, и желание помочь вот сейчас, и нежелание принять за явь этот живой рахитичный кошмар, и радость – радость здоровых людей, проскользнувших-таки над самой пропастью невредимыми да еще и спасение принесшими. Все это мелькало в растерянных лицах здоровых ребят в комбинезонах и шлемофонах, в их распахнутых и неловких руках, которых никак не хватало на ту массу тянущихся-обнимающих-прикасающихся истонченных рук, жаждущих на ощупь еще и еще раз убедиться – свои, свои, освободители!..

Шум, гам, кажется – каждый и сам-то себя перебить норовит, не говоря о рядом кричащих. И каждому кажется, что эти его несколько хриплых возгласов точнее всего поведают танкистам правду страха прошлого и счастья надежды настоящего... Меня, меня, меня послушай, братишка... послушай и сам скажи... подтверди... ведь дожили же!..

– Люди!.. тихо, граждане!.. ведь не понять вас! – закричал командир колонны, вновь за-

бравшийся на гусеницу своего танка. – Ведь не понять – кто вы, народ? Галдеж ведь не разговор... Слу-ушай!

И сверху глаза его разбегались: толпа в обмундировании всех стран, кто-то и в нижнем белье; лица – и лица все разные, не определишь национальности сразу, потому что слишком пестры, неоднозначны, но и общая печать изнурения обезличивает, сливая в одно лицо – кричащее, жаждущее, счастливое...

– Слу-шай-те! – и все замолкли, притаили дыхание. – Нескольких... три-четыре человека выделите... мы поговорим в стороне! я смогу... тогда!.. сказать, как быть дальше. Нам ведь некогда!

Юзик, доктор Иван Иванович, я и еще несколько наших товарищей окружили командира, постарались, гася собственное возбуждение, внятно рассказать о лагере, виднеющемся за провололочной огородой, о годах рабства в нем, о людях, что дождались-таки свободы – русские, украинцы, татары, буряты, грузины, казахи, кого хочешь можно было найти в этой галдящей, истощенной даже и собственной радостью толпе.

– Пока не двигайтесь из лагеря, теперь что ж – живы, – сказал танкист. – Следом части идут, они, видно, и займутся лагерем. Вы своих всех знаете: смотрите, чтобы не проникли власовцы, эти теперь раствориться постараются... Да кормите людей – если в лагере скот остался, так забейте без опаски. А то у немчуры местной реквизируйте, скажите – мол, майор Сидоров приказал! Варите, отъедайтесь...

И уже с танка: «Р-разойдись, нар-ро-од!..». Колонна прогромыхала дальше, а мы вернулись в лагерь. Теперь уже окончательно поверившие в безопасность, нашли одного из двух быков, которых держали при лагерном скотном дворе, забили, и вскоре над лагерем потекли запахи мясного варева – ели, пока не раздувало еще пуще, но и тогда опять ели...

ВРАТАРЬ

(Автор неизвестен. Услышано в исполнении В. Шемшученко)

Без судьи и церемониала
Начиналась вечером игра:
Сборная соседнего квартала
Вышла против нашего двора.

Мы не сомневаемся нисколько –
Им у нас не выиграть вовек.
Но встает у них в воротах... Колька,
Коля Сажин – это человек!

Он пришел недавно, в сорок пятом,
Он кумир окрестных всех дворов:
До войны, как говорят ребята,
Он играл в команде мастеров.

Мы, мальчишки, встали за ворота,
Затаив дыхание, глядим
И боеем, позабыв все счета,
За него, за Колю, как один.

Закипела битва, разгораясь,
Заклубилась над площадкой пыль...
На костыль стоял он, опираясь.
Как прорыв – отбрасывал костыль.

Наши прорываются, и с краю
Мяч идет крученный, навесной...
Вот и Колька сжался, приседая,
На своей на правой, на одной.

Он стоял, что надо! – Коля Сажин:
Верный гол отбил на угловой!
Он мячи такие брал, что даже
Сам качал в сомненьи головой.

Мы ребят своих не укоряли,
Никому не ставили в вину.
И не жаль, что наши проиграли,
Если Коля выиграл войну.

Вячеслав ХОМИЧ

ПОБЕДА

Война застала на вокзале...
Солдаты взяли горсть земли,
Слова прощальные сказали,
И их «теплушки» увезли...

И все мужское население
Семью оставило тогда:
Война промчалась по селеньям,
И в каждый дом вошла беда.

Все были в той войне солдаты.
И воевали – млад и стар,
Дрались с захватчиком заклятым,
Тушили родины пожар!

Себя в бою не поминали:
Железом с кровью пополам
Мы землю снова удобряли,
Молясь придуманным богам...

Победа вырвалась из боя,
Солдат оттуда увела,
И наградила их – собою:
За все их ратные дела!

Поклон примите, ветераны,
За ваши жертвы и за честь!..
Вы залечили тела раны.
В душе солдатской – раны есть!

ТРИФОНЫЧ

Был Александр Трифонович Твардовский совестью нашей литературы. Так на его похоронах и выкрикнула женщина: «Совесть хороним!» Его журнал «Новый мир» дал целому поколению первые ощущения свободы. Он открывал нам глаза на мир и на то, как нужно с честью нести свой талант. В этом году его столетний юбилей. Будем отмечать его в Гвардейске. Ведь заканчивал он свою главную поэму о Теркине весной победного сорок пятого года именно в Тапиау, ныне Гвардейске. Был поэт тогда молодым подполковником, судя по военным снимкам отличался статью и белозубой улыбкой. Сюда в край, где мы сейчас живем, вошел Твардовский в составе 3-го Белорусского фронта. Не до природных красот было той весной. «Скучный климат заграничный, чуждый край краснокирпичный, но война само собой, и земля дрожит привычно, хрусткий щебень черепичный отряхая с крыш долой...» Приходилось писать не стихи, а очерки. После штурма города появился в «Красноармейской правде» очерк «Кенигсберг». Теперь в Гвардейске на здании, где размещалась редакция фронтовой газеты, установлена мемориальная доска. Поэт подарил нам яркого народного героя, он создал лучшую поэму о войне. «Это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный солдатский язык – ни сучка ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, т. е. литературно-пошлого слова!» – так оценил поэму Твардовского нобелевский лауреат писатель Иван Бунин. И в самом деле, поэма имела огромный успех у читателей, а Василий



Теркин стал фольклорным персонажем, по поводу чего Твардовский заметил: «Откуда пришел – туда и уходит». Не уступают этой поэме и лирические стихи о войне. И еще одна поэма «Дом у дороги», в которой отразил он «оборотную» сторону войны: ужасы оккупации и плена, трагедию возвращения солдата-победителя на пепелище родного дома... Действие этой поэмы разворачивается в Восточной Пруссии, сюда в концлагерь попала героиня поэмы, жена солдата Настасья Маслова, здесь она батрачила вблизи Прейсиш-Эйлау (Багратионовск).

Уже в 60-е годы Александр Твардовский напишет ещё две значительные поэмы: своеобразное аллегоричное продолжение «Теркин на том свете» и произведение, которое отразило как его личную драму, так и трагедию всей России, – «По праву памяти». Сам поэт не увидел этих поэм напечатанными... Изданы они были много позже его смерти – в конце 80-х годов.

Твардовский был народным поэтом в самом

лучшем значении этого слова. И потому этого пожилого, убеленного сединами человека многие называли просто «Трифоныч».

Быть может, один из лучших словесных портретов А. Т. Твардовского дал народный артист Зиновий Гердт, сам прошедший войну («Н.Г.», 2003 г.):

«...Огромное влияние на меня оказал Александр Трифонович Твардовский! Суть этой загадочной на первый взгляд личности, мне кажется, в том, что этот крестьянский человек, в жизни говоривший чуть-чуть с белорусским речением, был непогрешим в прозе и стихах, был аристократичен, будто дворянин двенадцатого колена. Мы познакомились на Пахре, все началось с дачного соседства. Потом мы подружились. Иногда он вызывал автомобиль из «Известий». Помню, как однажды сманивал всех поехать с ним за компанию, говорил: «Есть места». Был возбужден, рассказывал, что едет в Москву, чтобы поведать всей редакции, какую замечательную повесть «Сотников» написал Василь Быков. Говорил о достоинствах прозы, о метафорах. Приглашал всех желающих:

– У нас есть два свободных места.

Повисла ужасная неловкая пауза. Потом он выдал из себя:

– Бесплатно.

И, вероятно, пожалев его, одна деревенская

женщина запунцовела и влезла в этот автомобиль. Он обрадовался: «Есть женщины в русских селеньях!».

Он был сноб в прекрасном понимании этого слова, англичанин, дворянин. Одинаково говорил со мной, с комендантом поселка, с Хрущевым.

Мы ходили с ним по грибы. Он стоял во дворе такой величественный и трезвый в пять часов утра. Лукошко, штаны, рубашка, посох. Прежде чем идти, низко кланялся – это было как ритуал. И только вышли за пределы поселка – и открылось поле, и купы дерев, во всем взоре столько было широты, этот ландшафт существовал и 500 лет назад... А впереди – мой кумир.

Я тогда прокричал, проорал стихотворение Пастернака «Август».

– Это Борис Пастернак? Мне приятно, что вы знаете стихи наизусть. А из моего?

Я прочел большое стихотворение.

– Вы и правда мои стихи знаете. Вы уж потрудитесь, прочтите его еще раз!

Мне кажется, это немножко придуманная профессия – мастер художественного слова. Публично читать стихи может только человек, перевосхищенный автором – переполненный восхищением...»

РЕДАКЦИЯ

Александр ТВАРДОВСКИЙ

«С тропы своей ни в чем не сосупая»

* * *

В краю, куда их вывезли гуртом,
Где ни села вблизи, не то что города,
На севере, тайгою запертом,
Всего там было – холода и голода.

Но непременно вспоминала мать.
Чуть речь зайдет про все про то, что минуло,
Как не хотелось там ей помирать, –
Уж очень было кладбище немилое.

Кругом леса без края и конца –
Что видит глаз – глухие, нелюдимые.

А на погосте том – ни деревца,
Ни даже тебе прутика единого.

Так-сяк, не в ряд нарытая земля
Меж вековыми пнями да корягами,
И хоть бы где подальше от жилья.
А то – могилки сразу за бараками.

И ей, бывало, виделись во сне
Не столько дом и двор со всеми справками,
А взгорок тот в родимой стороне
С крестами под березами кудрявыми.

Такая то краса и благодать,
Вдали большак, дымит пыльца дорожная.
– Проснись, проснись, – рассказывала мать, –
А за стеною – кладбище таежное...

Теперь над ней березы, хоть не те,
Что снились за тайгою чужедальнею.
Досталось прописаться в тесноте
На вечную квартиру коммунальную.

И не в обиде. И не все ль равно,
Какою метой вечность сверху мечена.
А тех берез кудрявых – их давно
На свете нету. Сниться больше нечему.
(Из цикла «Памяти матери»)

* * *

Дробится рваный цоколь монумента,
Взывает сталь отбойных молотков.
Крутой раствор особого цемента
Рассчитан был на тысячи веков.

Пришло так быстро время пересчета,
И так нагляден нынешний урок:
Чрезмерная о вечности забота –
Она, по справедливости, не впрок.

Но как сцепились намертво камня,
Разъять их силой – выдать семь потов.
Чрезмерная забота о забвенье
Немалых тоже требует трудов.

Все, что на свете сделано руками,
Рукам под силу обратить на слом.
Но дело в том,
Что сам собою камень –
Он не бывает ни добром, ни злом.

* * *

Есть имена и есть такие даты, –
Они нетленной сущности полны.
Мы в буднях перед ними виноваты, –
Не замолить по праздникам вины.

И славословья музыкою громкой
Не заглушить их памяти святой.
И в наших будут жить они потомках,
Что, может, нас оставят за чертой.

1966

* * *

Допустим, ты свое уже оттопал
И позади – остался твой предел.
Но при тебе и разум твой, и опыт,
И некий срок еще для сдачи дел

Отпущен – до погрузки и отправки.
Ты можешь на листах ушедших лет
Внести еще какие-то поправки,
Чертой ревнивой обводя свой след;

Самозащите доверяясь шаткой,
Невольно прихорашивать итог...
Но вдруг подумать:
«Нет, спасибо в шапку,
От этой сласти береги нас бог.

Нет, лучше рухнуть нам на полдороге,
Коль не по силам новый был маршрут.
Без нас отлично подведут итоги
И, может, меньше нашего наврут».

* * *

К обидам горьким собственной персоны
Не призывать участие добрых душ.
Жить, как живешь, своей страдой бессонной.
Взялся за гуж – не говори: не дуж.

С тропы своей ни в чем не соступая.
Не отступая – быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.

1968

* * *

Час мой утренний, час контрольный, –
Утро вечера мудреней, –

Мир мой внутренний и окольный
В этот час на смотре видней.

Час открытий, еще возможных,
И верней его подстеречь
До того, как пустопорожних
Ни мечтаний, ни слов, ни встреч.
Не скрывает тот час контрольный.
Благо, ты человек в летах –
Все, что вольно или невольно
Было, вышло не то, не так.

Но еще не бездействен ропот
Огорченной твоей души.
Приобщая к опыту опыт,
Час мой, дело свое верши.

1970

ГЛАВЫ ИЗ ПОЭМЫ «ПО ПРАВУ ПАМЯТИ»

2. СЫН ЗА ОТЦА НЕ ОТВЕЧАЕТ

Сын за отца не отвечает -
Пять слов по счету, ровно пять.
Но что они в себе вмещают,
Вам, молодым, не вдруг обнять.

Их обронил в кремлёвском зале
Тот, кто для всех нас был одним
Судеб вершителем земным,
Кого народы величали
На торжествах отцом родным.

Вам –
Из другого поколенья –
Едва ль постичь до глубины
Тех слов коротких откровенье
Для виноватых без вины.

Вас не смутить в любой анкете
Зловещей некогда графой:
Кем был до вас еще на свете
Отец ваш, мертвый иль живой.

В чаду полуночных собраний
Вас не мытарил тот вопрос:
Ведь вы отца не выбирали, –
Ответ по-нынешнему прост.

Но в те года и пятилетки,
Кому с графой не повезло, –

Для несмываемой отметки
Подставь безропотно чело.

Чтоб со стыдом и мукой жгучей
Носить ее – закон таков.
Быть под рукой всегда – на случай
Нехватки классовых врагов.
Готовым к пытке быть публичной
И к горшей горечи подчас,
Когда дружок твой закадычный
При этом не поднимет глаз...

О, годы юности немилой,
Ее жестоких передраг.
То был отец, то вдруг он – враг.
А мать?
Но сказано: два мира,
И ничего о матерях...

И здесь, куда – за половодьем
Тех лет – спешил ты босиком,
Ты именуешься отродьем,
Не сыном даже, а сынком...

А как с той кличкой жить парнишке,
Как отбывать безвестный срок, –
Не понаслышке,
Не из книжки
Толкует автор этих строк...

Ты здесь, сынок, но ты нездешний,
Какой тебе еще резон,
Когда родитель твой в кромешный,
В тот самый список занесен.

Еще бы ты с такой закваской
Мечтал ступить в запретный круг.

И руку жмет тебе с опаской
Друг закадычный твой...
И вдруг:
Сын за отца не отвечает.

С тебя тот знак отныне снят.
Счастлив стократ:
Не ждал, не чаял,
И вдруг – ни в чем не виноват.

Конец твоим лихим невзгодам,
Держись бодрей, не прячь лица.
Благодари Отца народов,

Что он простил тебе отца
Родного –
с легкостью нежданной
Проклятье снял. Как будто он
Ему неведомый и странный
Узрел и отменил закон.

(Да, он умел без оговорок,
Внезапно – как уж припечет –
Любой своих просчетов ворох
Перенести на чей-то счет;
На чье-то вражье искажение
Того, что возвещал завет,
На чье-то головокружение
От им предсказанных побед.)
Сын – за отца? Не отвечает!
Аминь!
И как бы невдомек:
А вдруг тот сын (а не сынок!),
Права такие получая,
И за отца ответить мог?

Ответить – пусть не из науки,
Пусть не с того зайдя конца,
А только, может, вспомнив руки,
Какие были у отца.
В узлах из жил и сухожилий,
В мослах поскрюченных перстов –
Те, что – со вздохом – как чужие,
Садясь к столу, он клал на стол.
И точно граблями, бывало,
Цепляя
ложки черенок,
Такой увертливый и малый,
Он ухватить не сразу мог.
Те руки, что своею волей –
Ни разогнуть, ни сжать в кулак:
Отдельных не было мозолей –
Сплошная.
Подлинно – кулак!
И не иначе, с тем расчетом
Горбел годами над землей,
Кропил своим бесплатным потом,
Смыкал над ней зарю с зарей.
И от себя еще добавлю,
Что, может, в час беды самой
Его мужицкое тщеславье,
О, как взыграло – боже мой!

И в тех краях, где виснул иней
С барачных стен и потолка,

Он, может, полон был гордыни,
Что вдруг сошел за кулака.

Ошибка вышла? Не скажите, –
Себе внушал он самому, –
Уж если этак, значит – житель,
Хозяин, значит, – потому...
А может быть, в тоске великой
Он покидал свой дом и двор
И отвергал слепой и дикий,
Для круглой цифры, приговор.

И в скопе конского вагона,
Что вез куда-то за Урал,
Держался гордо, отчужденно
От тех, чью долю разделял.

Навалом с ними в той теплушке –
В одном увязанный возу,
Тянуться детям к их краюшке
Не позволял, тая слезу...

(Смотри, какой ты сердобольный, –
Я слышу вдруг издалека, –
Опять с кулацкой колокольни,
Опять на мельницу врага. –
Доколе, господи, доколе
Мне слышать эхо древних лет:
Ни мельниц тех, ни колоколен
Давным-давно на свете нет.)

3. О ПАМЯТИ

Забыть, забыть велят безмолвно,
Хотят в забвенье утопить
Живую быль. И чтобы волны
Над ней сомкнулись. Быль – забыть!

Забыть родных и близких лица
И стольких судеб крестный путь –
Всё то, что сном давнишним будь,
Дурною, дикой небылицей,
Так и её – поди, забудь.

Но это было явной былью
Для тех, чей был оборван век,
Для ставших лагерною пылью,
Как некто некогда изрек.

Забыть – о, нет, не с теми вместе
Забыть, что не пришли с войны, –

Одних, что даже этой чести
Суровой были лишены.

Забыть велят и просят лаской
Не помнить - память под печать,
Чтоб ненароком той оглаской
Непосвящённых не смущать.

О матерях забыть и женах,
Своей – не ведавших вины,
О детях, с ними разлучённых,
И до войны,
И без войны.
А к слову – о непосвященных:
Где взять их? Все посвящены.

Все знают все; беда с народом! –
Не тем, так этим знают родом,
Не по отметкам и рубцам,
Так мимоездом, мимоходом,
Не сам,
Так через тех, кто сам...

И даром думают, что память
Не дорожит сама собой,
Что ряской времени затянет
Любую быль,
Любую боль;

Что так и так – летит планета,
Годам и дням ведя отсчет,
И что не взыщется с поэта,
Когда за призраком запрета
Смолчит про то, что душу жжет...

Нет, все былые недомолвки
Домолвить ныне долг велит.
Пытливой дочке-комсомолке
Поди сошлись на свой главлит;

Втолкуй, зачем и чья опека
К статье закрытой отнесла
Неназываемого века
Недоброй памяти дела;

Какой, в порядок не внесённый,
Решил за нас
Особый съезд
На этой памяти бессонной,
На ней как раз
Поставить крест.

И кто сказал, что взрослым людям
Страниц иных нельзя прочесть?
Иль нашей доблести убудет
И на миру померкнет честь?

Иль, о минувшем вслух поведав,
Мы лишь порадуем врага,
Что за свои платить победы
Случалось нам втридорога?

В новинку ль нам его злословье?
Иль все, чем в мире мы сильны,
Со всей возвращенной нами новью,
И потом политой и кровью,
Уже не стоит той цены?
И дело наше – только греза,
И слава – шум пустой молвы?

Тогда молчаливники правы,
Тогда все прах – стихи и проза,
Все только так – из головы.

Тогда совсем уже – не диво,
Что голос памяти правдивой
Вещал бы нам и впредь беду:
Кто прячет прошлое ревниво,
Тот вряд ли с будущим в ладу...

Что нынче счесть большим, что малым –
Как знать, но люди не трава:
Не обратить их всех навалом
В одних непомнящих родства.

Ольга АРОФИКИНА

ПТЕНЦЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

Не проходило часа, чтобы нам не били в лицо
хлыстами жестоких слов.
Мы пытались выплыть против течения,
но вязли в тягучем свинце однобоких дней.
Мы хотели летать, – нас безжалостно били –
наивных крылатых птенцов,
Мы искали свой дом, наши мысли топили в вине.

Наши руки, как плети, безвольно повисли вдоль тел.
Наши крылья поломаны чьей-то тяжелой рукой.
Не проходит и часа, чтобы кто-то из нас
не спрятал глаза в темноте,
Уставая искать, уповая на вечный покой.

* * *

Я шагами измеряю мозаику улиц нежданных,
Чьи мосты и дома как-то ночью приснились не мне.
Я зарю в осеннее золото призрака надежды –
Может, вырастет тонким зеленым ростком по весне...

ВОЛК - ОДИНОЧКА

Уйди,
Чтоб не слышала даже шагов,
Не видела тени.
И снова вошла в лигу зрячих слепцов,
Лелеющих полуистлевший остов
Своих заблуждений.

Останься! –
Ты можешь меня удержать
На гребне, на гребне!
Ты голосом волка и пляской огня
Из зеркала снова глядишь на меня –
Волшебник...

Со звоном
Сплетались в экстазе мечи –
Ну что же, ну что же?!

И виделось время огарком свечи...
Ты знаешь, мы следствием многих причин
С тобою похожи!..

ПОСЛЕ БЕДЫ

И снова будет биться о стекло
Моя некольцованная птица.
И снова, без дороги, наугад,
Уходят трое под дождливый кров.

И Чайка снова оставляет дом,
В надежде никогда не возвратиться,
И снова возвращается назад,
Попав в силки чужих бредовых снов.

И снова будут петь и танцевать,
Разглядывая постеры на стенах,
И снова будет больно уходить,
Пока не завершен порочный круг.

И пледом не покрытая кровать,
Хранящая нетронутость постели,
И паутинно-тоненькая нить
Меж мной и тем, что прежде звался друг.

Меж мной и тем, что было свято прежде,
Меж мной и начинающимся днем
Как дань неумирающей надежде,
Как дань тому, что выжжено огнем.

Зверь

В прорехах окон разверзается тяжесть глубин,
Над крышей из вечера – лунный портрет старика.
Опять не заснуть.

Не понять, не забыть – ты один.
Глаза холодит неизбывная волчья тоска.

Похмельный туман раздирая шагами в куски,
Плывешь, оставляя в кильватере веру в любовь.
Отринув надежду сердитым движеньем руки,
Цепляешь броню на глухую звериную боль.

А где те ветра, что бессмысленный сдуют навет
И стен позлащенных разрушат немые твердыни?
Над заспанным морем алел для кого-то рассвет –
Под волчьими веками – черное солнце пустыни...

ЛАЛАНГАМЕНА

Он стоял и смотрел на небо. Порыв осеннего ветра кинул русую прядь, выбившуюся из-под кожаного ремешка, ему в глаза. По темнеющему небу неслись рваные серые тучи, более светлые, чем сквозящая между ними высь.

Он обернулся и, прищурившись, вгляделся в стоящий на лесной прогалине дом, – вгляделся так, словно боялся, что тот исчезнет. Но дом не исчезал, а лишь вспыхнул приветливо прямоугольниками четырех окон, а в двух других, темных, открытых, качнулись от ветра занавески. Окна уютно мерцали, над трубой поднимался и, прибитый ветром, стелился вдоль крыши столб дыма. У крыльца, сделанного в виде терема, беспомощно всплеснула раздетыми ветвями посаженная им яблоня. Широкий двор то светлел, то погружался во тьму, следуя за прихотливой игрой туч.

Это был его дом. Дом, построенный его руками, дом, в котором он наконец нашел свой причал после долгих бесприютных странствий.

Когда он пришел сюда семь лет назад, здесь не было ничего, кроме леса. Леса и неба. Он знал, что так будет, он стремился к этому всю жизнь... Он мечтал о доме – своем Доме, но не находил его нигде, все было ему чужое. Он глядел на дома, казавшиеся такими заманчивыми с той стороны стекол, но, заходя в них, видел лишь скуку и пыль. И тогда он решил. Однажды на рассвете он покинул Город, чтобы никогда больше к нему не вернуться. Он пришел сюда и создал из ничего все: свой дом, свой мир, свою мечту... Было невероятно трудно, особенно поначалу, когда все валилось из рук и не ясно было, с какого конца браться за дело. Порой, когда он без сил падал и закрывал глаза, ему хотелось бросить все и бежать снова под неоновый купол, туда, где все решено за тебя и до предела, до ужаса ясно и безнадежно. Когда перед глазами от усталости вспыхивало огненное колесо, он думал, что не выдержит...

Но он выдержал. Он стоял, освещенный ласковым желтым светом, и смотрел на небо, где в разрывах туч на короткие мгновения показывалась луна, уже окруженная по-зимнему радужным ореолом.

Дверь дома отворилась, уронив на землю светлую полосу, и на крыльцо вышла его подруга, которая прошла вместе с ним до конца, не испугавшись и не колебавшись ни на минуту.

Она подошла к нему и тихо обняла его за плечи, зарывшись лицом в волосы на его затылке.

Он стоял и смотрел на небо. На его глаза навернулись слезы. Он сделал, он смог сделать это – он создал свой Дом, где его будут ждать и куда он всегда сможет вернуться...

«ЧУЖАК В ЧУЖОМ КРАЮ»

Станный человек, куда же ты идешь, поддавая ногой сухие листья, ведь тебя здесь никто не знает, а незнакомцев у нас не любят – ох как не любят! – запомни это, странный человек!

Станный человек, как же ты здесь оказался, из каких ты краев? Есть ли на свете земли, где все такие, как ты? Но оглянись, здесь все по-другому! Этот город чужой тебе, – разве ты не чувствуешь, как он ехидно смотрит тебе в спину своими окнами-бойницами?! Разве не слышишь громкой и безвкусной музыки вдалеке? Это люди справляют свой праздник, странный человек, праздник плоти и крови, и тебе на нем места нет!

Станный, милый странный человек, ты устал – положи голову мне на плечо и давай помолчим. Мне тоже не понять тебя, чужак в чужом краю, может быть, никогда не понять, но давай помолчим с тобой, пока есть еще время молчать. А потом ты затеряешься среди каменных фигур и замшелых темных стволов, и я какой-то частью души пожалею, что ты ушел, прекрасно понимая остальными, что иначе быть не могло.

Станный человек, и я никогда не узнаю твоего имени, и места, откуда ты идешь, и цели, которая влечет тебя, и названия той звезды, что указывает тебе путь. А если бы ты и сказал, и позвал меня с собой, то – скорее всего, я так бы и осталась стоять по колено в желтом шуршащем море, сожалея и томясь чем-то неведомым, провожая взглядом твою усталую спину. Ведь я так и не разгадала тайны в глубине твоих зрачков, чужак, странник, странный человек. Я проводила бы тебя и забыла бы о тебе и лишь изредка, сидя вечерами в тепле уютного желтого света, с трудом воскрешала бы в памяти все время ускользающие черты. Да разве еще видела порой в путаных и нудящих, как старая рана в дождь, снах, тревожащих несбыточным, после которых хочется выть на луну...

Станный человек, зачем ты забрал мой покой? И желтый свет мне не в радость, и желтое море... Куда же ты идешь, не оборачиваясь, растворяясь в сырых осенних сумерках?

Куда же ты, странный человек?..

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ

«Для будущего мы встаем ото сна. Для будущего обновляем покровы. Для будущего устремляемся мыслью. Для будущего собираем силы...

Мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени».

Сегодня на улицах был пепел. Он летел с неба, и непонятно было, откуда он брался. Казалось, что горит само небо, пронзительно, естественно синее и яркое. Люди шли и не за-

мечали. Они не знали, не могли догадываться, что где-то здесь, рядом, отгорела чья-то прежняя жизнь. Пепел летел с неба, подхваченный ветром порхал с места на место, черными жгутами лежал на земле. Как будто жгли веревки, связывавшие еще уставшую душу с этим бренным миром.

Я шла среди пепла, как птица Феникс. Пепел летел передо мной, пепел был у меня в волосах, пепел устилал мне дорогу.

Горел картонный город, горел фанерный мир, и скоро мы должны увидеть новое небо.

Когда старое догорит...

Ксения АВГУСТ

* * *

Мне нравится запах сцены,
Заслуженные овации
В шагах окрыленной грации
Бесплотные и бесценные.

Мне нравится блеск зеркал,
Неведомый и таинственный,
Пусть даже один-единственный
На весь безучастный зал.

Я буду писать стихи
Ласкающие и колющие,
Совсем ничего не стоящие
В огромной стране глухих.

Я буду опять одна,
Бесхитростная и странная,
И никогда незваная
За дружбу испить вина.

Я знаю, что есть враги,
Завистливые и лестные,
Но иногда полезные,
Унявшие дрожь строки.

Я знаю, что есть слеза,
Погибшая и бессмертная,
Вносящая жизнь ответную
В распахнутые глаза.

* * *

Я налью в бокалы вечер
С ароматом летних трав,
И тебя как раньше встречу
У знакомого двора.

Где кусты неспелых ягод
Гладят локоны берез,
Упаду с тобою рядом
Градом прошлогодних звезд.

Лабиринтом старых лестниц
Я пройду знакомый путь,
Где однажды хитрый месяц
Нас решился обмануть.

На стене под слоем грима
Слов, навеянных тоской,
Много раз ты мое имя
Написал своей рукой.

Ночь в бокалы окунулась,
Проливаясь в небесах,
И тебя опять коснулась
Моя русая коса.

* * *

Прошу – ни слова! Понимать
Тебя я буду по дыханью,
И в бесконечном взгляде тайну
От глаз чужих оберегать.

Ты не почувствуешь меня,
Когда в переплетеньях ночи
Тебя я вижу между строчек
Несуществующего дня.

В неосторожности души,
Неверно подобравшей рифму,
Слова ломаются как грифель
В руках, хранящих нашу жизнь.

Разбив, пытаюсь объяснить
Слова, наполненные силой,
Я наизусть их заучила
И буду для тебя хранить.

* * *

Легким дыханием струн
Я оживу в твоём сердце,
Буду тебе грезиться
В бледных дрожаниях лун.

На полуистертых ладах
В предощущении чуда
Песней твоей я буду,
Строчкой письма в никуда.

Только не говори,
Как в переборе гитарном
Пальцы, как в танце парном,
Приобнимают гриф.

Как между двух рук
В преодолении тверди,
Как между жизнью и смертью,
В нас зарождается звук.

Превозмогая боль
В стертых до крови пальцах,
Кружится в диком вальсе
Шум беспокойных волн.

Если он поспешит
Стать мне не песней, а карой,
Я разобью гитару
И перестану жить.



Женя ЛЁГКОСТЬ

ТОШНОТА

Ж. П. Сартру

Я ни в чем не виновата,
Но по-своему красотка.
Говорят – грядет расплата
За невежество. Ты соткан

Из поступков, в ад ведущих,
Подвигов осатанелых.
Растворятся рая кущи
В неприкаянных пределах,

Отодвинутых за грани
Понимания природы.
Человек штампует money,
Человек диктует моду.

Тошнота нас разбирает,
Мясом – от костей, прозренье,
Дух и душу огибая,
Переходит в наступленье,

Прямо в мозг вонзая иглы –
Экзистенции вопросов.
Мы живем без вед и библий
На проценты ложных взносов.

Говорю себе – усни же
Иль проснись и бодрствуй вечно!
Сколько можно падать ниже
Самых низких? Страх-предтеча

Философских изысканий.
Мы дочитываем книги
И садимся в те же сани,
И стремимся в те же лиги...

Лиги Наций... Деловито
Приближая горизонты,
Направляя дождь софитов
Прямо в зубы ортодонта –

Пусть сверкает белизною,
Ровным рядом частокольным,
Выпрямляя все живое,
Искривленное любовью...

* * *

Каялся Каин и снова валял дурака,
Чистый татарин, скиньте его с маяка.
Намните бока.. поумнеет, наверняка,
Но Авеля все же убьет, как-никак,
Библейская рулит интрига,
Она же, утяжеляя вериги,
Бросает человечину на кон..
Пошел брат на брата, инако-
Мыслием гаморрален...
– Если не спохватитесь, всех завалим! –
Сквозь облака грянул создатель, –
На души ваши один покупатель, –
Продолжил реплику,
Перстом указуя на черта,
Копытами сгребавшего метрики
Всех, кто делал аборты
И зубы не чистил на ночь,
Нечистую силу множа,
Такую вот сволочь
Ждет вечный кариес с обжигом
На сковородочке!
Ну что, дьяволята, по водочке?
И в баню оттирать грехи человечества?
Чтобы боженьке стало полегче нам
Генерить от гриппа вакцину,
Искалеченное вылечивать ци нах...
В общем, веники в руки и шагом марш,
А не то всех нас дружно пустят на фарш,
Не разбирая, кто в «Порше» сейчас,
А кто паршивый с рожденья.
Каин, пробил ваш час,
Лотерейный билет искупления
Потерять в глубоких карманах...

Петр СТАРЦЕВ

КРОМЕ ТИШИНЫ (Ничто)

Ничто не вечно, кроме тишины.
Мы тишиной заражены,
И лишены любого смысла
Эмблемы, знаки, буквы, числа.
На карте мира нет страны,
Где не слышали тишины.

Ничто не вечно, кроме пустоты,
Лишь зеркала с тобой «на ты».
Секунда длится дольше года,
И нет числа, лица и рода.
А неприступные мосты
Ведут на лоно пустоты.

Ничто не вечно, кроме пустоты:
Повсюду черные зонты.
По неприятельской Вселенной
Идет мой голос, будто пленный,
И голос этот слышишь ты...

Купи пистолет!

Времени нет и нет расстоянья,
Хором поют миллиарды миров.
От сотворения до созиданья –
Степь искушений Дорогой ветров.

Грохот и смех в колоннах парада,
Где маршируют, ища свой приют.
Орды планет в огне звездопада
Ночью над крышей твоею пройдут.
Горы афиш (в ряду индульгенций)
Втоптаны в почву жестоким дождем.
Крыса «хрущевок», кот резиденций
Вышли на улицы; Мы не пойдем.
Жертвуйте все свои состоянья:
В небо – молельни, об пол – голова!
Вместо прощений будут прощанья,
Если Господь засучил рукава.
И под прямым огнем впечатлений
В час, когда Небо объявит нам бой,
Гордо пройди по иглам сомнений,

И постарайся остаться собой.

Все, что мы чувствуем, нам только кажется;
Истина – Старый и Новый Завет.
– Если слова эти вместе не свяжутся,
Слопай перо и купи пистолет!

Неясыти-ястребы

Крыши, неясыти, ястребы.
С улицы света нет. Пасмурно.
Щурится кот. Пахнет красками,
Холст покрывается астрами.

Сотни вопросов, ответов нет:
Где тебя носит, мой белый снег?
В нас ли страна, или мы – в стране?
Видит ли Бог людей во сне?

Утро. Не выпалась ночь на дне.
Двигается шторм, значит быть весне!

Вышел, а небо все – ясное...
Крыши, неясыти, ястребы.
Выше – солнце вихрастое.
Дышится!
Звуки – лишь гласные!

Влезу на башню и...
– Здравствуйте,
Крыши, неясыти, ястребы!

Яблоко восхода
Вслед за яблоком заката
Ты дойди до той черты,
Где распалась тень солдата
На могильные кресты,
Где горит огонь тюльпана
Отражается в глазах
Русской водки полстакана
(Настоялось на слезах).

Улыбалась рваной раной
Кенигсбергская весна.
Над войною, над поганой,
Посмеялись мы сполна.
Чтоб любовь не провожала
До околицы меня,
Чтобы бомба не визжала,
Все надежды хороня,

Вслед за яблоком восхода
Шли гвардейские полки,
Цитадели небосвода
Брали храбрые стрелки.
Слезы выплакали дети,

Взгляд стеклянный, в горле ком:
Продолжается на свете
Битва с черным пауком.

Группа первого прорыва

*«Штрафникам»,
штурмовавшим Кёнигсберг*

Все четыре дня – атака.
Превращаешься в собаку,
Слыша только лай и вой.

Группа первого прорыва
Бьет врага без перерыва,
Не слыхав команды «стой».

В группе первого прорыва
Погибают без отрыва
От работы боевой.

ФРАГМЕНТ

(То, что было со мной до меня)

4.

Окна с видом на трубы и космос
Это ночью, а днем – как всегда:
Тучи – пакля на белой извеске
И в садах дождевая вода.
Серый воздух к тяжелой одежде
Так и липнет. Всех тянет ко сну.
А на улице Красной, как прежде,
Ветер тащит из парка весну.
Этот день уже был
мною прожит,

Но опять он сверкнул впереди.

На одной из мощеных дорожек
Зашипят мне
«Не думай, иди!»
голоса перерезанных улиц,
И обрушенных крыш голоса.
Отчего они снова проснулись?
От того, что гудит в небесах
Бог Апрель?

Нам пора прорываться
В направление к центру, а там,
Эти фрицы, вильгельмы и гансы
Драться будут за каждый гидрант,
За оплеванный пулями угол,
за ветра, что их флаг тербят,
За друзей, превратившихся в кукол,
За живых и за мертвых ребят,
За студента в мышинной шинели,
Сохранившего гофманский стиль,
И за всех тех, кого не успели

пережечь в материальный утиль.

Утро.

Вид из окна - все такой же.

Ты не веришь?!

Сама погляди.

Этот день уже был мною прожит.

Хоть сегодня меня огради

От фантомов, что дышат мне в темя

И дорогами смерти ведут.

Кенигсберг!

Ты прими наше время,

а не то его стройки сожрут!

У истории гнусные рожи:

По брусчатке шагают «скины».

Сколько прошлого в будущем, Боже?!

Сколько в будущем нашей вины?



Ольга ТУМИЛОВИЧ

* * *

Воскресенье, резкий ветер.
Мерзнут руки в узкой лайке
Птицы, крики, шумы моря,
тихий вздох.
Вдруг слезой прорвется горе,
и, тревожа криком сердце,
бьются над водою чайки,
и стучится в сердце, плача,
тихий дождь.

«Что с тобой?» –
ты спросишь тихо.
Я отвечу: «Это вьюги!
Это птицы. Это небо.
Это просто боль разлуки
Знаю я наверняка.
Пусть обнимет меня небыль,
Унеся с собою в вечность».
И погаснут в доме свечи
От порыва сквозняка.

* * *

Я увезу тебя на Куршскую косу
Туда, где море дышит небосводом
Туда, где так теплы залива воды,
Где звери дикие скрываются в лесу.

Где на песке следы оставил ветер,
Где камни нежной памятью полны –
Туда, где милый шум морской волны,
Где сосны склонил бродяга-ветер...

Мы будем там одни на белом свете.

* * *

Вопрос на засыпку, смертельный вопрос
Чем спрашивать, лучше молчать
Зачем тебе это? Зачем вновь и вновь
Лишь взглядом его провожать?
Вновь будешь одна через лужи шагать
И под ноги грустно глядеть
Зачем, если ты не умеешь летать?
Зачем тогда в небо глядеть?
Зачем эта вера и тысячи слов,

Которых не скажешь вовек?
Зачем это небо и эта любовь?
Не птица ты – человек...
Вновь спрячешься ты за завесу дождя
Упрямо по лужам шагать
Ты лучше других понимаешь леса
Себя же тебе не понять...
Вновь слышат тебя лишь собака, да дождь,
А в мыслях пылают стихи
Собака твоя, ветер, песни дроздов...
Кому они к чёрту нужны!

* * *

По жизни скитаешься ты
неприкаянно
Ища и надеясь
на счастье отчаянно
Душа твоя
как опустевшая комната
Ни шума в ней нет,
ни детского гомона
Завалена книгами
площадь
жилищная
Как сердце
словами,
теперь уже лишними
Воспоминанья,
как листья упавшие
И слёзы
на целую жизнь
опоздавшие
Никто не войдёт
в твою дверь
позабывтую
И окна твои
фанерой забитые
Никто не поздравит
тебя с днём рождения
По жизни
скитаешься
как привидение.

* * *

Нет мадонны без ребёнка
Не было без страха суеты
И без крыльев не летает пчёлка
На воде не держатся кресты
Не бывает сна без сновидений
Не бывает шума без хлопот
Замок старый пуст без привидений
И земля пуста без талых вод
Не бывает без надежды птицы
Не бывает похорон без дрог.
Вот и сердцу по ночам не спится
От несбывшихся не пройденных дорог.

Аушра КАЗИЛИЮНАЙТЕ



о приближении весны

с белого листа бумаги
на забор
вскочит белая кошка

до того ты не мог её видеть
да после вероятнее
также не сможешь

с забора белая кошка
скользнёт на другой
белый лист бумаги

понемногу снег упадёт
в её чрево

и всё потихоньку растает –
листья кошка чрево

покуда останется только
забор

подлёдный лов

сидишь на автобусной
остановке –
мимо
спешат прохожие,
едут машины

качается в воздухе
огромный крючок
на нём нанизано всё
что было

одна за другой клюют
машины

сквозь их жабры
капают огромные кровавые
капли и
падают на

золотые рощи
где затаилась чернейшая
ночь
где под тронутым ветром
деревцем слышна лишь музыка
и не одного ругательства

потому
они бьются и разевают рты
как это утро
тебя поглотившее

по пути в самарканд
на берегу ли осмелевший
дождь
сомневается над рекой
или озером
задумался ли
над этим колодцем

где безмолвна вода
и поднимается
ввысь
полведро
полнолуния

Перевёл с литовского Clandestinus



Гитана ГУГЯВИЧЮТЕ

О СТРАХЕ, КОТОРЫЙ ЖИВЁТ ПОВСЮДУ, НО БОЛЕЕ – ЗА ОКНОМ

Страх – это такой товарищ, который всегда был, есть и будет. Ну, может, когда-то этого товарища и не было, но в те времена много чего ещё не было: не было социальных гарантий, не было авторучек, не было колбасы и телевидения. Были только Бог, Рай, Адам и Ева. Ещё были разные животные, да птицы с растениями, которыми питаются все животные. Растения в то время не были живыми (поскольку в Раю не было смерти и насилия), а ожили они совсем недавно, когда появились учёные и сказали, что растения живы, потому что растут; что они чувствуют боль и слушают музыку, а более всего им нравится Классика, от звуков которой они начинают бешено расти. И ещё растения живы потому, что чувствуют Страх, который из чёрного с белыми точечками яйца возник в ту самую минуту, когда Ева соблазнила Адама отведать запретного плода. Тогда Страх разбил острыми когтями скорлупу яйца и отправился вслед за Адамом и Евой, иногда притворяясь громом, а иногда – злым монархом или войной.

Люди весьма не любили Страх и очень его боялись, поэтому построили дома, создали тёмные очки (так как через тёмные стёкла не видно Чёрного Страха) и придумали электричество, поскольку на свету Страх бледнел и начинал шевелиться – тогда люди говорили, что их охватывает беспокойство, и начинали много работать, звонить друг другу, дети начинали плакать и проситься на руки, а лентяи пробовали заснуть и не видеть Страшных Снов. Тем временем Страх, глядя в окна квартир, расчёсывал длинные волосы, веточкой можжевельника чистил своим звёздам сверкающие зубы, носил самое красивое, неопишемое платье и длинным когтем стучал в окно или касался сво-

ей грудью человеческого уха, чтоб тот слышал биение его сердца. Страх был большим и красивым, как джунгли или промёрзшая тайга.

Однажды весной, когда тётя Милда впервые широко распахнула окна квартиры, Страх вплыл в комнату и спрятался в углу за телевизором, который тотчас начал моргать и показывать странные геометрические фигуры. Спаниель Ринтинтин прикинулся, что не видит его, и гневно стал грызть ножку кресла, а все аквариумные рыбки попрятались под растениями и камешками. Тётя Милда тем временем пекла пирог, стирала одежду, поливала цветы, начищала серебро, звонила соседке, принесла картошки из подвала, ждала возвращающегося с работы мужа, смотрела в окно, вязала кофту, вытирала пыль, погладила спаниеля, натёрла зеркала, переставила мебель, высушила одежду, порезала палец, почистила картошку, поправила волосы, вынесла мусор, разозлилась на лозящих под окнами детей, кашлянула, прочитала криминальную сводку – и вдруг застыла, словно поражённая столбняком: та реальность, в которой она работала, вдруг перестала существовать, и тётя Милда почувствовала себя попавшей на окраину этой реальности. Во-первых, её охватил кошмар, и она выбросила пирог за окно. Затем её охватило беспокойство, и тётя Милда проглотила две таблетки валерьянки. А ещё позже тётя Милда взглянула в пустые глаза Страха и поняла, что всё, чем она живёт, что с ней случилось и случится, не есть никакая реальность и никакое не бытие, а лишь иллюзия реальности – неконкретное, неограниченное и неудобное состояние между бытием и небытием. Тётя Милда очень испугалась и стала метаться из угла в угол за наряженным Страхом, который всё рос и увеличивался, питаясь тётиной печалью и запивая её душистым чабрецовым чаем. А когда Страх вырос настолько, что занял всю комнату, весь коридор, всю кухню, все шкафы

и тумбочки, тётя Милда бросила спаниелю кость с редкими остатками мяса, посыпала рыбкам сушёных дафний и выпрыгнула через то самое окно, которое впустило Страх в дом. Страх пополз вслед за ней, поскольку вернувшийся домой муж зажёл свет...

ИГРАТЬ В НИЧЕГО

Надо взять немножечко наивности и святое «Господи, они не знают, что творят», хорошенько их взбить и залить лимонадом или водой с вареньем, называемым «гайва». Всё перемешать, наплевать в посудину Волшебной Слюны, обойти вокруг двора и три раза выкрикнуть вопрос и ответ: «Что делаешь?» – «Ничего!», «Что делаешь?» – «Ничего!», «Что делаешь?» – «Ниче-

го!». После этого надо трижды убаюкать куклу, один раз упасть и расплакаться, разорвать чулок, построить крепость, выпечь из песка блинов для соседской семьи, гладить облысевшую кошку а когда она сдохнет, похоронить в цветочном саду соседей, затем болтать четыре часа в день, всю жизнь ходить на работу, на всех разозлиться, затем влюбиться во всех и сказать: «Жизнь прекрасна». Слова надо отделить от кожи, кожу надо собрать и отдать курам, а всё, что пахнет летом, весной, зимой, осенью и другими временами года, надо сдать в банк и хранить так, словно сейчас же всё это потеряешь. Тогда и получится Ничего и ничего ему не сделаешь.

Перевод с литовского Clandestinus

Миндаугас ВАЛЮКАС

* * *

Японский поэт Басё
босиком совершает утреннюю
гимнастику

Туман как облака
Стелется по земле
Как дым только холодный
Оживляющий и мокрый

Гирлянда журавлей
Шкуры вершин
Калоши Басё
Каштаны и почта

Мне нравится

Луна
Не севшая на
Диету

Бабочка
Огненнокрылая
На стоге сена

И знамёна портянок
На конопляной
Верёвке

Нежданно предвиделось

Чищу рыбу
Под цветущей вишней
Чешуя и соцветия
Мешаются одно с другим

Нежданно предвиделось что

Одно с другим мешается
Соцветия и чешуя
Под цветущей рыбой
Чищу вишню

Возле колокольни

Сидеть возле колокольни
И ничего не ждать
Съесть мороженое
Потом выкурить сигарету
И каждой девчонке
Прощающе улыбаться
Опаздываешь

Японский поэт Басё
ночует в заброшенном храме

Через раны в крыше
Суёт рожу
Похудевшая луна

Но сбитая крыльями бабочки
Лишь аукнет одурело
И уползает плакать в кусты

ЗОВ

На каждом мосту
Секунду чувствую себя
Самоубийцей

Замираю негласно
Призывая
Смерть

Идём беспокоиться
Любимая

Не будем терять
Времени

* * *

На улицу вышел некто
Ещё пахнувший комнатой
Телевизором и хорошим табаком

Кто на ночь опустил
Липовые паруса кто слепил эту
Липовую мозаику под ногами
И с какой целью
Летят туда эти птицы

Он сыщик и хотел бы знать
Но все следы
Смыло дождём

ШТИЛЬ

мореровнокакэпистрофа

Рамунас РУДЖЁНИС

КУКЛА

Подарили на улице куклу:
– Возьми, не умрёшь.
Посадил её в вазу, как цвет...
Не моргнёшь.
Чёрт, скоро появится Ангел!
Не люблю лакомиться халвой.
Холодно.
Кукла кивает головой.

ИМПЛАНТ

Поздней весенней ночью
Я резал свою руку –
Инсталлировал туда имплант,
Полный твёрдости и надежды.
Он должен пульсировать под душой
Ритмом живого сердца,
Тогда (я в это верил)
Должно было взойти солнце...
А у меня сильно болела рука.
Хоть я и чувствовал, как затягиваются
Раны под щитом забвения,
Хотел вырвать имплант вон
Глубокой ночью, может, около пяти...
Вдруг неожиданно
В небе, казалось, то рассветает
То вновь темнеет,
Словно там пробивается несмелая заря...
Смотрел туда, забыв о руке.
И об импланте. Инсталлированном в руку.
Кажись, уже пятом...

1941

...на третий день он увидел цветок.
Одинокий, но милый.
На четвёртый – поддерживал стену,
А на пятый – полз,
Ловя постоянно и «до» и «си».
Позже долго-долго спал...

И будущее полило сад.
И даже сыграло...

БОГИНЯ ЧЁРНОГО ЮМОРА

Орхидею из шкуры лисы
Посажу я у серого тракта.
Сорвиголовы гимн ей споют,
Жизнь завоюет как волк ей, бестактно...
День стекла над её головой.
Будет грустно слегка. Но не жалко.
Знаю я – ты навеки со мной,
Чёрного юмора весталка...

КОГДА УСТАЁТ АВТОРУЧКА

редко
сетями белых паучков
обрезалась

редко
повышала голос
печально уплывая
вдаль

иногда
помалкивала
заметая пурпурной метелью

чаще всего
я не замечал
разбивая
часы
авторучкой

ПРИГЛАШАЮ

Приглашаю всех на бульон –
В собственном соку, ненавязчивый.
Хоть ложку! Ведь культовый он.
Пылью подслащенный.

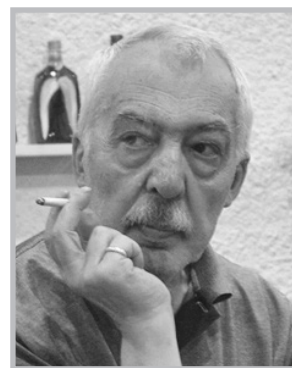
Приглашаю на холодец,
Из будней состряпанный,
Из стен ненависти... Наконец,
Хоть кусочек! Один хотя бы...

Лучшее – на десерт.
Попробуйте! Много значит.
Осенний мольберт...
Прошу вас! Не плачьте!

Перевод с литовского Clandestinus

Андрей БИТОВ

Мой Толстой



*Писатель дворянского класса
Граф Лев Николаич Толстой
Не кушал ни рыбы, ни мяса,
Ходил по аллеям босой.*

*Жена его Софья Андреевна
Обратно, любила поестъ.
Она не ходила босая,
Спасая дворянскую честь...*

И т.д., до бесконечности. (Нынче в Интернете под текстом стоит дата 1947-1951, т. е. что ни на есть текст из зоны, но я подозреваю, что он слагался еще раньше, до 1917-го.)

В любом случае это фольклор, т. е. наиболее народная реакция на образ его величия.

И это еще до того, как мы стали его «проходить» на уроках литературы, где он нам особенно надоел уже не только бородатыми портретами, но с помощью Горького и Ленина: «Экакий человечище!» и «+ как зеркало русской революции».

А ведь не было еще и слов-то таких, как дисидентство или имидж, а мы уже, не сговариваясь, не воспринимали ничего, что пованивало идеологией или пропагандой. И я не уверен, что теперь столько же свободы.

С этого начинается мой Толстой, и слава Богу, что я писал в школе сочинения на тему «Наташа и Андрей» или «Наполеон или Кутузов», ни разу не раскрывая неподъемную книгу. Это был ИХ Толстой. Я лишь завидовал своему дядюшке, который с наслаждением перечитывал СВОЕГО Толстого, только что отвоёвав СВОЮ войну.

Да и мне пришлось для начала окончить школу, пройти стройбат и угодить в шахтеры, чтобы на Кольском полуострове от первой до последней буквы добыть для себя золото войны и мира. Преодолеть этот текст было не легче работы в забое, но какой же это был восторг для тайком уже пописывающего автора!

Прошло уже полвека, а я все еще надеюсь успеть перечитать эту книгу.

И именно тогда меня восхитило не только богатство, но и необычайная художественная жадность Толстого. Например, княжна Марья, благословляя брата Андрея на войну, надевает ему на шею простенький серебряный крестик, а мародер-француз сдирает с него убитого тот же крестик, уже золотой.

И это был уже МОЙ Толстой.

Невозможно постичь, что нам нравится и за что. Особенно в литературе. У одних прекрасна краткость, у других – наоборот. Т. е. мы не понимаем. Это – вера. Мы пытаемся объяснить ее себе, как оправдываться. Слов получается все больше, т. е. мы от нее (веры) удаляемся.

Вера – это точка. Точка, из которой мы вышли, а потом все хотим в нее вернуться, навсегда запомнив, что она таки была и есть. Бог не требует доказательств, а мы все их ищем, а не Его.

Толстого попросили сформулировать смысл романа в двух словах. Я бы на его месте ответил, что он и так в двух словах, если И не считать. Он же, если я правильно помню, ответил: «Если бы я мог короче, то и написал бы короче, а мне потребовалось столько, чтобы сказать всё как можно короче».

* Выступление на конференции «Мой Толстой» 15.11.2008 в Харденберге (Германия)

Примечательно это ВСЁ. Эпос как раз и рассказывал всё, в еще дописменном виде Книга – гениальное обретение цивилизации, но именно она погубила эпос, разбив его на кирпичики историй, сюжетов (книжек), из которых эпос можно сложить лишь в библиотеку, погребая в себе явленный нам цельным мир. Ужас! Однако пафос Библии, одной книги как Всего и единого целого, сохранился как подсознательная литературная амбиция. Но всюду это уже как бы, с пародийным оттенком, не говоря о «Гаргантюа»

и «Дон Кихоте», даже у серьезнейшего Данте это «комедия».

Усилие собрать мир воедино становится не только непосильным, но и несерьезным: у Бальзака и Гоголя пародируется уже Данте.

Насколько же простодушной и детской должна сохраниться вера в возможность воссоздать нормальное и очевидное!

Наверное, это и называется идеализм. Однажды мне пришлось наобум рассуждать о немецком менталитете и, опровергая миф (что всегда безнадежно) о пресловутой скупости и экономности, мне удалось додуматься и до счастливой формулы: только идеалист способен пожалеть материю (недавно, рассуждая с водителем о надежности немецких автомобилей, я понял, что и она от жалости к металлу). Русский идеализм весь растворен в категории честности (которой так мало).

Сколько же может быть идеала и нормы в одном человеке? Представьте себе такого превеличенного не в возможностях гения, а в возможностях нормы человека – получите Толстого. Такой невозможный раздутый младенец, как реклама «Мишлен». Зрелище не для слабонервных. А каково было ему самому?!

Великое недоумение человека перед Богом, верующего перед церковью, гражданина перед обществом, писателя перед литературой сопровождало его всю жизнь. Так что это не Толстой противоречив, а наши суждения о нем, никак его нормы не достигающие. Не по силам, не наша это мера. Нам остается, как в том замечательном рассказике Куприна, перепутать анафему с аллилуйей.

*Подайте, подайте ж, граждане,
Я сын незаконный его.*

Н. В. Набоков проиллюстрировал это для витаминных американских студентов наглядно. Войдя в аудиторию, чтобы объяснить им, что такое русская литература, он распорядился поплотнее задернуть шторы. «Темно?» – спросил он и, получив подтверждение, попросил включить один софит. «Стало светло?» – спросил он. – Это – Пушкин. Теперь включите второй. Светлее? Это – Чехов. Теперь раздерните шторы. В аудиторию ворвался солнечный свет. Это – Толстой!»

(Думаю, что для Набокова, хотя и модерниста, еще не существовали слова *happening* или *performance* в современном значении.)

Толстой признан как эпик и как классик-ре-

алист. Я хочу здесь немного сказать о нем как о модернисте.

Недавно, по примеру Набокова, я решился на подобный хэппенинг. Директор Музея изобразительных искусств имени Цветаева в Москве пригласила меня поучаствовать в вечере, посвященном Прусту (в связи с экспозицией импрессионистов «в сторону Бергамота»). Сначала шли артисты, интеллектуалов оставили под конец, чтобы публика не начала выходить раньше срока. Я был последним. Приготовил, как выражаются музыканты, «фишку».

Помогла мне в этом Лидия Гинзбург (1902–1990). Я вспомнил ее рассуждения о том, что Пруст со своим психологизмом может быть рассмотрен как продолжатель прозы Льва Толстого, что и пресловутый поток сознания найдем мы у него задолго до Джойса. В доказательство приводились неоспоримые «Война и мир» и «Анна Каренина», но также была упомянута некая самая ранняя неоконченная проза. С этим смутным воспоминанием позвонил я просвещенному другу Сергею Бочарову с вопросом, что Л. Я. Гинзбург могла иметь ввиду. Бочаров уверенно назвал «Хронику вчерашнего дня», первый суперзамысел юного Толстого: просто-напросто и всего лишь взять и описать полностью один день. Это был прустовский по блистательности текст, захлебнувшийся в замахе «Улисса». Описание бала (будущий бал Наташи Ростовской?) Всего лишь проба пера молодого офицера за несколько лет до «Севастопольских рассказов».

Бочаров передо мной прочитал свой уточненный и утонченный перевод из Пруста (смерть Бергамота), и я подхватил эту линию: мол, и я перевел, несмотря на никакое знание французского, неизвестного русскому читателю совсем уж раннего Пруста, мол, простите и его и меня. И я прочитал им «Хронику одного дня».

Конечно, «элитная» публика, в основном, не читала ни Пруста, ни даже Толстого. Но те, кто читал, не знали этого текста и не заметили подвоха: сочли меня эрудитом по Прусту.

Зал, однако, продолжал ждать от меня еще чего-то. И я прибавил Прусту еще и будущие заслуги Джойса.

Но и этого было мало. Я молчал, но и пауза не помогла. Тут меня осенило соображение.

«А вообще-то, – сказал я. – Пруст тут не при чем. Не его мы любили, а запрет на него. И знаете, за что мы вообще любили переводную литературу? За то, что нас не выпускали за границу».

Зал начал оживать. Это меня смутило.

– Нет, я не о том, что вы подумали, на самом-то деле, мы любили иностранную литературу за то, что в ней в советских условиях сохранился нормальный русский литературный язык; именно в нише перевода укрылась недобитая интеллигенция, еще помнившая языки. Это подозрительное знание давало ей кусок хлеба, которым она исподволь накормила нас всех.

Зал воспринял мой пафос и заплотился, полагая, что это конец. Но я уже не унимался.

– Власть была слишком озабочена, чтобы не упустить главного: не перепутать национализацию с наследием.

Вся национализация классики выразилась в корявых предисловиях, которых никто не читал. Зато сами тексты сохранялись как достояние. Их мог бы прочесть незамутненный ум, если бы не школьное преподавание. Так что не Пруста, а Толстого уже никто не читал. Я вам только что прочитал раннего Толстого, а не Пруста. Простите.

И я сошел со сцены. Зал больше не аплодировал.

P.S. Моя замечательная переводчица на немецкий Розмари Титце, корпя над повторным переводом «Анны Карениной», изучая в связи с этим все вокруг, посетила и Ясную Поляну. Она мне сообщила, что там есть беседка, в которой часто сживал маленький Толстой. Беседка возвышалась над трактом, по которому мог проезжать Пушкин. Во всяком случае, Левушка однажды обратил внимание на одного чем-то выделявшегося курчавого пассажира. Предположение, достойное мифа.

Тут припомнилось мне и собственное посещение Ясной Поляны. Правнук Толстого Владимир Ильич тогда только начинал скрытую реинституцию имения в должности директора. Гены заработали, и дело пошло. Были затеяны и первые «Яснополянские чтения», приуроченные к дню рождения Льва Николаевича. Не зная, что удастся сказать, я прихватил с собою замечательную книгу. Не знаю, как это мне в свое время свезло купить ее походя на развале за студенческую копейку. Это был том неопубликованных произведений Толстого, выпущенный сразу после его смерти. Он был объема и цвета будущего 90-томника.

Но, что меня и тогда поразило, а тем более поразило в автобусе, везшем наших писателей на поклон к классику, сколько же оказалось там Всего неопубликованного! Тут и национализи-

рованный МХАТом «Живой труп», и любимое детище самого Льва Николаевича «Хаджи Мурат», и ряд небольших произведений (рассказ «Алешка-Горшок», который Александр Блок назвал лучшим рассказом русской литературы (по-видимому, он читал то же издание), и опубликованное разве что за границей, примечательнейшее эссе «О патриотизме»... в общем, много всего оказалось и после смерти, как и самого Толстого – много.

Волшебные сентябрьские деньки! Толстых съехалось со всего света. Писатели подозрительно косились на них, непредставленные. Их родной мужик в посконной рубахе, с нечесаной бородой, босой, с косой в руках, казался не имеющим никакого отношения к западным родственникам.

Как-то все-таки подзабылось за советское время, что он еще и граф, между прочим, и что не все бы тут при нем по его усадьбе шастали.

Наконец все чинно расселись, рассуждая о величии и значении простого русского графа. Основной мотив сохранялся: близость к простому и русскому народу. Мне нечего тут было добавить, и так само сложилось, что слово мне было предоставлено в последнюю очередь. Я не знал что, но в руках у меня был спасительный посмертный том, и я заявил, что пора бы предоставить слово самому Льву Николаевичу и зачитал его соображения о патриотизме как о «последнем прибежище негодяев». Фо па.

В Ясной Поляне меня занимало что-то свое.

Например, я как бы понимал, зачем в огромном доме граф работал в самой неудобной подвальной комнатке за самым крошечным столиком.

Или, например, зачем валялась в траве на боку пудовая гиря, с которой Лев Николаевич баловался до старости. Как же он над собой работал!

Как над текстом.

На поле между Ясной Поляной и следующим толстовским имением баловались молодежные дружины из Тулы, любители старинных битв: сражались на своих картонных мечах, целились в кочан капусты из лука. Я не попал по мишени и пошел одиноко пешочком, насколько удавалось вдаль. Тут внезапное воспоминание привиделось мне в густой траве: будто так начинался не перечитанный мною «Хаджи Мурат». Сломанный репейник, все еще продолжавший жить!

Нет, не даром был так прижимист с публикацией «Хаджи Мурата»! Будто ему еще и еще раз

необходимо было что-то в нем улучшить. Это уже когда он привык к упрекам, что перестал быть художником и слишком увлекается поучениями и проповедью. Лев Николаевич занял тут вполне пушкинскую позицию:

*Ты сам свой высший суд,
Всех лучше оценить умеешь
ты свой труд.*

*Ты им доволен ли,
взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И в детской резвости.*

«Детская резвость» новой толпы уже мало волновала великого старца, и он свысока не захотел переубеждать ее.

«Хаджи Мурат» слишком нравился ему, и он охранял его как доказательство художественной состоятельности.

Идея «Памятника последнему произведе-

нию», приуроченного к столетию со дня смерти Льва Толстого восхитила меня. Исподволь я расспросил правнука, можно ли установить место, где Льва Николаевича посетил замысел «Хаджи Мурата», ведь оно с такой выпуклостью описано на первых страницах повести.

Владимир Ильич согласился со мною.

Памятник, в моем представлении, должен был бы представлять стоящий на стеле кованый сломанный репейник, эскиз которого так точно выписан Толстым. К этому можно было бы приурочить факсимильное издание посмертного тома 1911 года.

Исполнитель тут как тут. Алексей Лукьянов, кузнец из Златоуста, кстати отличный прозаик.

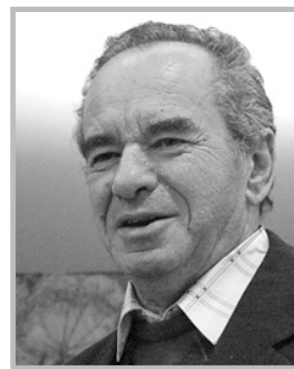
«Летят за днями дни» и вот уже только год остался на исполнение замысла.

Хотя бы раз в жизни успеть что-либо вовремя!

7 сентября 2009

Олег ГЛУШКИН

ПАМЯТНИКИ



Юность моя прошла среди памятников. Зачастую они были понятнее мне, чем живые люди. У каждого памятника была своя история. Они были свидетелями моих встреч в пору студенчества. В Питере было принято назначать свидания у монументов. В бывшем Кёнигсберге, с которым позже я связал свою жизнь, тоже встречались у памятников. Здесь, правда, довольно часто разрушали старые памятники. Едва успеешь договориться встретиться у Вильгельма, глядишь – и Вильгельма нет, и Бисмарка нет, да и самого Королевского замка, возле которого они стояли, тоже нет.

В первые годы послевоенного житья было не до памятников. Завод, где я работал, был окружен цепью зеленых чепков, ждущих нас после рабочего дня. А те, кто задерживался на работе и не поспевал к чепкам до их закрытия, шли в глубину парка, некогда бывшего немецким кладбищем, к «Женщинам и коням». Название имело прямой смысл, потому что в дальнем глухом углу парка, поросшем высокой травой, были свалены конные статуи и женские скульптуры. Мы брали бутылку, садились на гипсовые животы, поглаживали каменные гривы и запивали водку пивом. Царили здесь мир и согласие. Кони были немецкие, а женщины советского изготовления: была здесь и девушка с веслом, и девушка с обручем. Мы на них не обращали внимания, а выясняли постоянно друг у друга, кто и как нас уважает.

Несколько лет назад я захотел найти место наших возлияний, но попытки мои были безуспешны. Зато набрел я на целую грудку ленинских бюстов. Кто-то наспех забросал их палой листвой. Когда-то такая коллекция могла надолго обеспечить скульптору безбедную жизнь. Помню в годы, когда лысый вождь считался самым мудрым и добрым, я гостил в столице у известного художника. Мы пили несколько дней подряд. А потом кончились запасы спиртного, и жена художника по прозвищу

Валькирия наотрез отказалась выдать нам деньги. И тогда художник повел меня в подвал, где ровными рядами стояли бюсты лысого вождя. Их было, наверное, десятка два. Художник отделил двоих, дал одного мне и сказал: «Надо старичка забашлять». И оказалось это не сложно. В ближайшем клубе у нас купили эти два бюста и долго благодарили художника, ибо ждали парткомиссию, а тот вождь, что стоял у них в ленинской комнате, потрескался. Тогда я был молод, и показалось мне действие художника кощунством. Дурачок, я даже поругался с ним. Кричал, что нельзя торговать искусством. Уж какое тут искусство? Сейчас бы я назвал это халтурой. Не мог он, что ли, разнообразить эти бюсты. Вот я видел в моем родном городе скульптуру кудрявого мальчика – и оказалось, что это тоже был вождь в пору своего детства. Наверное, сейчас его сбросили с пьедестала. А в чем виноват мальчик, возможно, это был и не вождь, а сын местного партократа. Но такие необычные ленины были крайне редки. В основном ставили стандартных вождей с поднятой рукой. Любимой шуткой в тоталитарные годы было напоить человека и самолетом переправить в другой город, где положить на площади под памятником вождю. Проспавшись, человек долго еще был уверен, что очухался в родном городе. Он брал такси, ехал, к примеру, на улицу Советскую или на Ленинский проспект. В любом городе такие улицы были. Теперь такой фокус не проделаешь, стало больше разнообразия и в названиях улиц, и среди памятников. Многие памятники доживают последние годы. Каменным монстрам надо держать ухо востро. Не ровен час появятся стропальщики, охватят шею металлической удавкой и сдернут с пьедестала. Что для них памятники – безмолвный камень, холодный металл. А возможно ведь, только памятники и живут самой настоящей жизнью. Пушкин, как всегда, первым об этом

догадался. И заскакал по звонкой мостовой Медный всадник, преследуя бедного Евгения. Пушкину стали подражать. У многих сочинителей памятники заговорили. Сочинители эти все, конечно, нафантазировали. А вот в нашем городе и выдумывать ничего не нужно...

Пройдитесь по городу ночью, когда все уgomонятся, и поймете – Пушкин изначально и всегда прав. Приглядитесь, все ли статуи так безмятежно, как днем, стоят на своих местах... Гарантирую – вас ждет много чудес в полутьме, где дух Гофмана и его фантазии смешались с большевистскими мифами. Вот, к примеру, зубры. Они стоят возле технического университета. У немцев это было здание суда. По совдеповской легенде здесь судили одного из вождей немецкого пролетариата Карла Либкхнехта. Нынешние студенты о Либкхнете ничего не знают и знать не хотят. На пасху они до блеска начищают зубрам медные яйца. Зубры олицетворяют защиту и обвинение, которые обречены вечно бодать друг друга. Но мало кто знает, что после полуночи зубры перестают бороться. Скрытые темнотой, они опускаются на колени и просят друг у друга прощения. Шиллер все это видит и умиляется. Бронзовая слеза сползает по гордому лицу Шиллера. Он вспоминает сорок пятый год и ту охранную надпись, которую начертали на нем чужеземные солдаты: «Не трогать, пролетарский поэт!» Что значило пролетарский поэт, он не может понять до сих пор. Сохраненный нашими солдатами, он обречен читать названия пьес, составляющих репертуар провинциального театра. Кириллица плохо дается немецкому романтику. Ночью можно отдохнуть от этих надписей. Ночью он слышит привычное постукивание... Это Кант совершает свои прогулки, обстукивая тростью дорожные камни, в поисках философской тропы. Он путается в названиях улиц и боится заблудиться. Он опасается, что разведут мосты. Он мыслит старыми категориями – мосты разводить никто не собирается. Иногда его выручают гвардейцы, павшие при штурме города. Они идут с тяжелым гранитным знаменем, твердую их поступь всегда можно различить даже издалека. Один из них в дни падения Кёнигсберга написал на гробнице философа: «Теперь ты понял, что мир материален». Философ до сих пор не может разгадать, какой смысл вложил солдат в эти слова. Возможно, это был и не простой солдат, а знаток философии и любитель поэзии. И, возможно, этот же солдат ночью идет строевым шагом к почтамту, к Пушкину. Алек-

сандру Сергеевичу – поэту, о котором Кант узнал в послевоенное время, – поставлен только бюст. В руках ветка рябины – последнее утешение. Лишенный свободы при жизни не обретает ее посмертно – понимает Кант. И еще один императив рождается в голове Канта: «Вечен только тот, кто беспечен». И он, как всегда, прав, великий философ. Сколько стояло изваяний! Короли, вожди, полководцы! А где они? И у Бисмарка, и у Вильгельма, и у кремлевского горца – одна судьба. Переплавлены. Разлились жидкой раскаленной лавой. Стали подшипниками в местных трамваях. А сколько было кичливости, какой апломб, какие амбиции! Из праха созданные становятся прахом, из металла отлитые обращаются в металл. Остались два вождя. Один, козлобородый всесоюзный староста, застыл у Южного вокзала с протянутой рукой. Нищим давно уже никто не подает. Старый плут, отказавшийся от своей жены, брошенной с его согласия в круги ада, и приказавший расстреливать детей, окончательно помешался. Пытается кричать, что город назван его именем. Все уже знают, что город назван в честь калины, красные ягоды так целебны и так прекрасны. Бывший всесоюзный староста боится и ночью сойти с пьедестала, сделаешь пару шагов – и твое место сходу займут новые правители. Его учитель и вождь, весь позеленевший и сморщенный, остался суетливым, каким был и при жизни. Забрел с испуга на вокзал. Искал пломбированный вагон. Понял, что пора отваливать. Встал у Дома искусств. Задумался. «Не тот это город и полночь не та», – звучат в темноте невесть откуда запавшие в голову строки поэта, которого не успели шлепнуть братишки. Вождь измучен – боится возвращаться на площадь. Храм рядом. Вспомнят – как рушил церкви, как приказывал разорять алтари и пускать в расход священников. Надо затаиться и подождать. Предлагали около памятника Родине-матери встать, так тоже ненадолго. Место уж больно беспокойное, днем митингуют нацболы. Кричат о сионистах и ни слова о мировой революции. Ночью свет реклам не дает сомкнуть глаз. Вспору строить шалаш...

Вождю немецкого пролетариата Эрнсту Тельману повезло: спрятался в небольшом парке на окраине города, ему хорошо, никто не заметит, к тому же он просто бюст, лишенный возможности идти и искать своих спартаковцев. Раньше сидел спокойно на постаменте, который некогда принадлежал герцогу Альбрехту, почти в центре города, открывался прекрасный

вид на центральный проспект. Но было шумно. Теперь тишина. Постамент отобрали. Повсюду ставят новые бюсты.

Там, где стоит Родина-мать, собираются сделать аллею с памятниками всем русским губернаторам. Тем, кто правил городом в Семилетнюю войну – Суворову-отцу, Панину, Корфу, Фермору... И, конечно, партийному бонзе Коновалову и всем его партийным предшественникам, разрушавшим город. И словно предугадал эту затею скульптор, изваявший нам Родину-мать. Напрасно высмеивали мы памятник, показывали гостям нашу «Мать», которая сбоку являла зрелище писающего памятника – так уж сделана была опущенная рука, что пальцы образовывали пенис. Теперь, когда установят бюсты, ей будет на кого мочиться.

Отцам города – бюсты, выдающимся личностям – мемориальные доски. Объявлено было всем живущим в городе бывшим и нынешним партийным бонзам, лидерам бизнеса, новаторам, актерам, художникам, писателям и прочим знаменитостям, чтобы готовили тексты и доски заранее, еще при жизни, ибо средств свободных в городе нет и не предвидится. Поступило около тысячи заявок – теперь создана специальная топонимическая комиссия при губернаторе для определения состава и утверждения надписей. Большой был ропот среди интеллигенции – почему деятелям прошлого, всяким Альбрехтам и Вильгельмам собираются ставить памятники, какому-то Гофману целых два памятника. Шемякина позвали ваять! А нашим российским художникам и писателям – простые дешевые доски, лишь бы отделаться. Пусть Шемякин и нам ставит изваяния. Можно и Церетелли пригласить. Мы этого достойны.

Резонно решила комиссия, что на всех металла не хватит. Нужны общие памятники. Ведь стоит один такой – памятник космонавтам. Не Леонову, не Романенко, не Пацаеву, а просто космонавту – нашему земляку. Стоит в металлическом кругу бодрый герой космоса. Памятник неизвестному космонавту народ называет весьма странно: «Хочешь жить – умей вертеться». Можно все сделать по аналогии с этим памятником. В парке Луизы на ее же сохранившийся постамент поставить памятник «Неизвестному художнику», а на площадке, где Кутузов стоит, соорудить рядом с ним памятник «Неизвестному писателю». И опять много недовольных. Особенно среди писателей. Почему

– неизвестному? Мы – писатели-патриоты – все известные. И объяснил председатель комиссии: «Не известно, были ли вы писателями...» И без этого много ошибок совершили. Вот поставили изваяние кутузовское, изобразил его знаменитый скульптор молодым, с двумя глазами и со всеми орденами, которые он позже получил. Теперь над нами в Москве смеются. Лучше бы, говорят, поставили памятник Пруссу. Предку Пушкина – пруссу Радше, ведь именно отсюда, из бывшей Пруссии, берет начало славный пушкинский род. Пушкинисты эту идею подхватили. Решили заодно и памятник Абраму Ганнибалу поставить, ведь отличился тот в сражениях. Ганнибалу ставить не разрешили сразу, сказали на самом верхе – вам разреши эфиопу ставить, вы и Дантесу возведете.

И я согласен: хороша будет картина. Стоит памятник Дантесу и целится в памятник Пушкину...

Как мелок весь этот спор. Суeta суeta... Лучше подумаем о павших воинах, их кровью вся земля здесь пропитана. Сколько еще не захороненных, сколько забытых! Какой памятник ни поставь – все будет недостаточно... Сидит маршал Василевский на площади его имени и читает списки погибших. Просто перечислять имена – не хватит и жизни. Мечется Вечный огонь у подножья рвущихся в последнюю атаку гвардейцев. Памятник тысяча двумстам, из двухсот тысяч павших избранным. А остальным...

А тем, кто жил здесь и погиб под бомбами... А тем, кто пал жертвами геноцида, а тем, кто стал лагерной пылью и лагерным дымом...

Но выход есть – давайте же утвердим особым президентским указом, что весь наш город – памятник и весь он должен охраняться от сегодняшних и грядущих гуннов. Все его парки, и все его мостовые, и все его храмы... И ведь, действительно, это памятник всем некогда жившим здесь, это памятник всем павшим и это памятник всей Второй мировой войны. Ее гибельным разрушениям и ее жертвам, ее трагедиям и победам, ее поражениям и горечи. Надо восстановить прежний город виртуально – сделать в вечернем небе возникающие картины, чтобы можно было сравнить былое и сегодняшнее и осознать, как хрупки даже бронзовые памятники и даже каменные строения, как беззащитны наша жизнь и наши города. И как добро переходит в зло. И зло наказуемо.

Римантас ЧЕРНЯУСКАС

Рассказы



ХИМЕРА

В детстве она составляла гербарий. Собирала листья, цветы и всякие редкие травы. Наслаждалась, изумлялась причудливым, затайливым телам этих растений. Словно кто-то написал узкой, тонкой кисточкой фантастические, невиданные миры, которые, кроме всего, распространяли горький и терпкий запах увядания.

По сей день в ее комнате три толстых альбома с цветами, травками и листьями, от которых исходит мутящее разум дуновение тления и увядания. Словно осенью он пронизал всю ее комнату, книжную полку, диван, кресла, подслеповатого пуделя Фикса, попугая Лору и даже взгляд ее сынишки, когда он с укором смотрит ей в глаза, если она возвращается домой поздно и под хмельком. Даже в ее одежду, волосы, кожу впитался этот запах. Это представляется естественным и привычным. Она не помнит, чтобы мир вокруг нее когда-нибудь пах чем-то другим.

Она уже давно убедилась, что ее появление приносит зло, словно магнитом притягивая муки, несчастья и смерти.

В первый раз она очень испугалась, когда от рака в больнице умерла мама. Была холодная, прозрачная осень. Она стояла возле кровати и увидела, как помутнели и широко раскрылись глаза матери. Да так и остались – смотрящими в побеленный потолок палаты.

Съехалась материнская родня, плакали, рыдали; она стояла, сжимая отцовскую руку, и думала: бессердечная, люди плачут о твоей маме.

Но глаза были сухими. Они не научились плакать.

– Господь добрый, – вымолвил кто-то, – не позволил долго мучиться.

А потом всю ночь, когда осталась одна, она тихо всхлипывала в подушку, пока ее не отпустила боль и комната не перестала выглядеть

такой пустой, без всяких примет жизни. Может, тогда она и начала собирать травы?

Однажды весной она заметила, что вьюнок вьется по стене ее дома. В том же году отец перебрался к другой женщине. Она осталась с бабушкой, которая ей уже давно казалась похожей на высохший цветок из гербария. Следующей весной в ее дворе умер вяз. Его листья осыпались, облупилась кора, остался блестящий скелет дерева. Старого полуслеплого кота раздавил самосвал, любимый отцовский кактус она сама выкинула в мусоровоз.

Еще дольше и ужаснее умирал ее муж Людвикас. Его смерть началась с его стихов. Чем больше он печатался, тем более далеким и чужим становился. Уходил, увядал, исчезал из ее комнаты и мыслей. Стихи писал претенциозно-пустые, она своего мнения не умела и не желала скрывать. Его стихи могли понравиться лишь толстобедной учительнице географии, к которой однажды Людвикас и ушел.

– Господь добрый, – говорила бабушка, – он тебя долго не мучил.

Хотела плакать, но не смогла, не научилась, всю ночь, оставшись одна, всхлипывала в подушку. Жизнь была, точно комната, полна ненужных живых и увядших цветов, а еще сын, глядящий на нее серыми глазами предателя Людвикаса. Все в ее жизни складывалось из сплошных ошибок и распада. Может, тогда она и поняла, что умеет читать мысли своих подруг.

Мысли были простыми и неглубокими: отыскать службу получше, переспать со здоровым, желательно богатым мужичком. Невольно и сама начала записывать свои замечания и мысли о сексе, любовных гнилушках и неумолимом увядании, потребности старения.

Ее рассказы были грустными. Она не пыталась кому-нибудь их показывать. Это было бы то же самое, что заново складывать гербарий из аварий, самоубийств, останков неопознан-

ных женщин, ограблений банков и изнасилований на местном кладбище. Единственный раздел газеты, который она громко читала своему сыну, попугаю и пуделю Фиксу, была городская криминальная хроника. Зло, насилие, издевательство, разнузданная страсть – все исходило от мужчин и смердело дешевым табаком и острым животным потом.

Героиня ее рассказов была маленькой частицей процесса, притягивающей к себе несчастья и беды. Она заметила, что мужчины на улице окидывают ее все более сладострастными взглядами. Она злилась, но было приятно.

Однажды шеф, застав ее в одиночестве роющейся в архиве среди полок с делами, принял ее как бы шутя прижимать ее бедрами к стене и рукой ерошить ей волосы.

– Подожди, – усмехнулась она, – твоя очередь будет завтра.

– Не понял, – промурлыкал ей шеф в ухо.

– Вчера была очередь плотника, сегодня я сплю с заместителем. Твоя очередь – завтра.

– Ну, знаешь, – он вдруг покраснел и остыл, словно укололся или подхватил дурную болезнь.

Ей понравилось дразнить их, понравилось дурачить интеллигентных городских самцов, которые в кафе снимают женщин, угощают их коньяком, а потом бледнеют и юркают в кусты, когда девицы начинают им излагать свои любовные приключения, с кем и как, и сколько любовников у них было. Мужчина всегда хочет быть собственником, первым и последним любовником всех женщин на свете.

Однажды она написала рассказ, героиня которого, она назвала ее Рутой, сидела в ресторане с известным в ее городе писателем. Этот старик был типичным самцом и осыпал ее стихами и комплиментами.

– Я никогда не пробовала с писателем, – невинно улыбнулась героиня рассказа, – занималась любовью с художником, с двумя музыкантами одновременно, но с писателем...

– С удовольствием, – сказал этот старик и подал ей коричневую визитную карточку.

– Что, сейчас? – она смутилась и поспешно опрокинула рюмку ликера. Оставался лишь один способ, как избежать силков этого павлина, – напиться до бесчувствия. Такие чистенькие художественные типы, которые даже своих жен трахают в презервативах, не выносят пьяных женщин. Поскорее напиться и облевать его стол с креветочным салатом. Между тем писатель подозвал официанта и принялся что-то нашептывать ему на ухо.

– Почему бы нет, – ухмыльнулся тот и сально пробежал по ней взглядом.

– Что такое, – побледнела вдруг Рута, – что вы тут задумали?

– Вы сами этого хотели, – пожал плечами писатель и, вытащив бумажник, протянул ей столитовую банкноту.

– Но я не такая, – она вскочила с места и увидела того официанта, стоящего, точно статуя, у двери. Ресторан был уже пуст.

– Тем лучше, – сказал этот старик, – испытаете большое удовольствие.

– С вами? – попыталась улыбнуться Рута.

– Я буду стоять рядом. Ты хотела, чтобы был писатель.

Любовный акт был, как и изнасилование, полным унижением девушки. Как сука, стояла она на четвереньках, а писатель только наблюдал и указывал, в каких позах заниматься любовью. Сделалось больно и грустно. Когда-то она читала книги этого старика и верила каждому его слову. Так грустно она планировала закончить историю своей героини, но увидела жадные глаза писателя и засветилась от радости.

– Импотент, – засмеялась Рута, – как в жизни, так и в творчестве.

– Ты, сука, – ожесточился писатель, – не суйся не в свои дела.

Это была ее месть, маленькое отмщение мужской породе. Свои писания она держала в самом дальнем углу ящика стола. Героиня ее рассказов, которую бросил муж, расхаживала среди запыленных полок судебного архива, по вечерам читала сыну городскую криминальную хронику, поливала цветы, а когда укладывала свое маленькое семейство спать, отправлялась на охоту за кровью, спермой и приключениями. Девушка не избегала притонов, не боялась бродяг и пьяниц и могла заниматься любовью со всеми, чтобы поскорее подцепить коварную болезнь, которой смогла бы, словно плеткой, отодрать местных распутников.

Героиня сама искала мужчин, соблазняла их и бросала нагими в городском парке или на лестнице, как прожженная проститутка, требовала денег или, наоборот, прикидывалась наивной невинной девушкой, чтобы можно было зло посмеяться в глаза известному театральному актеру, ни в чем не повинному коллекционеру: ты не первый, глупец, до тебя была сотня... Свои походы она совершала под хмелем, стакан вина возбуждал ее хищность.

И только перед закатом солнца, когда, иссякнув, она возвращалась домой, грустная и

пьяная, девушка находила свои писания и читала, беззвучно шевеля губами. И сама не сообщала, кто о ком написал, какой жизнью она живет – подлинной или сочиненной.

ДАЙТОНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

Проматывал зарплату за пару недель с друзьями и всякими непонятными девочками, которые крутятся в местном кафе.

Очухавшись и подсчитав, что осталось, он аккуратно платил за свою монашескую обитель, закупал на рынке самой дешевой копченой скумбрии, половину буханки хлеба, лимон (если еще оставались деньги), заваривал коричневого цейлонского чая и валялся один в темной комнате, тараща в экран цветного телевизора. Бывало и так, что даже не включал этот ящик.

В мгновения вынужденного одиночества он помаленьку пытался развязать нити, которые прикрепляли его душу к телу. Сухость во рту, боль в печени, странный шум в голове предвещали скорую и неизбежную старость, а он все еще вел себя как пацан: пил вино, мешая с пивом, и любил женщин, имена которых забывал уже на следующее утро, едва успевал позвонить другу и позвать в ближайшее кафе поправить здоровье. Сначала – невинный бокал пива, пока глаза не восстановят цвет и блеск, пока не придет ощущение, что возвращаются силы, после чего можно приниматься за напитки покрепче – вино, джин, водку.

А если бы у него было много-много денег и в них никогда не случалось бы недостатка? Так он никогда бы не прекращал, все время жил бы в кафе и в развороченных кроватях с незнакомыми девицами, которые вопили бы от страсти, прося не останавливаться. Но и у него иссякали силы, он заваливался навзничь возле какой-нибудь бабенки, и тут же его охватывала вселенская скука, ведь теперь надо было разговаривать. О чем?

Разве она читает книги? Разве она что-нибудь знает о душе и трансцендентальном?

Много лучше, если женщина понимала, молча одевалась и собирала свои разбросанные вещи. При прощании он предлагал ей чай и соображал, что забыл ее имя. Но к чему? К чему имя или номер телефона, которые она, уходя, четко написала губной помадой на зеркале?

Однако в темноте, когда деньги уже проку-

тил, когда в трубке отключенного телефона не слышны никакие голоса, только ветер пытит за задернутыми шторами, он понимал, что ничего еще не случилось, что душа все еще бела и беспорочна, как первый выпавший этим утром снег. В миру он бывал и пребывал с множеством красивых или потрепанных женщин, с торчащими попками или тяжелыми, как дыни, грудями, с сонными или блестящими глазами, которые темнели от нахлынувшего вожделения. Ему не перед кем было раскрыться, он не находил ворот для побега в трансцендентальное. Как он любил это длинное слово. Словно мыслящий тростник, он сам был мыслящим тростником, который топтали и рвали прохожие.

– О чем ты думаешь? – ласково спросила одна, которая не торопилась и, скорее всего, была убеждена, что взамен за искустельное тело получит его душу.

– Знаешь, – потянулся он на кровати, – думаю, как бы было здорово с тремя девушками сразу.

– Свинья, – нахмурилась ласковая и торопливо выбежала, оставив свой черный складной зонтик.

Они все хотят забраться в душу, но не умеют, не знают, что сказать. Мыслящий тростник. Провалившись с неделю и почувствовав, как бурчит от голода желудок, он сбегал в деревню к своим одиноким родителям, коротавшим век в усадьбе на краю леса.

Здесь нет никаких женщин, только парочка свиней, коровка, петух, с достоинством командующий отрядом своих куриц, старший пастух Марек, с которым никто в деревне не может долго разговаривать из-за его дурного запаха и пьяного мычания, кроме холодной далекой звезды, которой в городе он не замечал, как и росы на головке дикой репки, когда по утрам идут спутанные коровы, божьей коровки на его плечах, воробья в луже – все это неожиданно приобрело смысл: не просто так они нарисовались – что-то понемножечку сдвинется и повеселеет в его жизни.

Но за оградой уже стоит Марек и мычит как бык:

– Стакан.

Такое прозрачное заиндевелое пасхальное утро. Отец на первом автобусе отправился в костел. Он сидел на скамейке у двери, уставившись в легкие, как перышки, облака, и вырос, словно из-под земли, этот пастух, чумазый, словно вылезший из оврага, с торчащей из кармана бутылкой.

– Стакан, – решительно говорит Марек.

– Человеке, такой день. Даже не умывшись, Марек.

– Стакан, – повторяет тот еще злее.

Ничего не поделаешь, он приносит стаканчик, отрезает еще ломтик соленого сала, ломать хлеба и наблюдает, как дрожащими пальцами Марек наливает самогонку. Резко потянуло его запахом.

– Марек, а душа? Ты подумал, что однажды тебя не станет? Тебя заботит твоя душа?

– Дух? – Марек сосредоточился, опрокинул стаканчик и выдохнул легкое мерцающее облачко воздуха. – Вот мой дух, – серьезно говорит Марек.

И вдруг он устыдился, ему даже сделалось не по себе, что он был таким назойливым, словно та девка из кафе, лезущая в душу другого человека.

НОВЕЛЛА ВРЕМЕНИ

Альгирдасу Роландасу

Торчишь в углу сам по себе, большим незрячим глазом таращась на белую пустоту салфеток. Визжащая музыка, шелестящие подметки о паркете зала и охрипшие голоса скользят по ту сторону твоего поля зрения. Здесь у тебя был только стол, застеленный скатертью, и почти полная бутылка красносмородинового вина. Здесь у тебя было только свое время в почти полной бутылке красносмородинового вина. Медленно выпив его, ты встанешь, окинешь взглядом зал и вынесешь все, что скользит по ту сторону.

А теперь ты – вещь в себе, зрящий глубины души так же четко, как бутылку смородинового вина. Ты, подпольный поэт-неудачник, раскритикованный и отверженный всеми порядочными редакциями, лишившийся всех возможностей публиковаться, еще берешься за новеллы. Да, ты – бездельник, кусок мыла, ни на что больше не способен, так берешься за новеллы.

За лунный свет, осенние письма, мертвых бабочек на батистовых носовых платочках.

Ты будешь сидеть в пустом прокуренном кабаке, два молодых официанта будут стоять у твоего столика, а два швейцара охранять двери. Будет громоздиться куча пустых стульев, и на одном из них – отдыхать твое уставшее седалище. Не будет ничего и всего будет вдосталь для твоего абсолютного одиночества. Начнешь издали, глубоко вдохновленный мастурос-

ловами, жопословами, трахословами. Словарь ругательств спрятан в кармане твоего черного кожаного пальто.

Вдруг вырастет тот неудобный странный тип, и ужасно печальная улыбка будет играть на его губах.

Как он смеет в священный час творчества нарушать твое уединение?

Кто впустил его, как прошмыгнул он мимо двоих рослых привратников?

Однако он возникнет в пустом пространстве и будет приближаться, медленно волоча ноги.

Будешь смотреть в его блестящие глаза, и точно вылетит из головы, что обещал быть писателем. Наконец разомкнутся узкие его губы, выбрасывая сиплый вопрос:

– Что такое боль, господин?

Человек повернется, не дожидаясь ответа, и отплывет вдаль между сваленными стульями кабака.

Двумя посиневшими пальцами ущипнешь себя за щеку, но совершенно ничего не почувствуешь.

– Действительно, действительно, что же такое боль?

Будешь щипать сильнее и сильнее, ногти вопьются тебе в мясо, пока совсем не продырявишь свою побледневшую щеку.

– Господи, что же такое боль?

Тогда ты вскочишь, расстроенный и побелевший, бросишься вдогонку неведомому чуду, выкрикивая ему вослед:

– Подожди, приятель, подожди! Я уже не знаю, я забыл, что такое боль!

Но человек не услышит, только будет нервно хихикать и улыбаться, пока два здоровяка с лицами мясников не выволокут его на улицу. Ты сможешь еще понаблюдать через грязное кабацкое окошко, как ритмичными пинками коленей в задницу заталкивают того человека в большую машину с огромным красным крестом. Еще промелькнет длинный белый халат, машина содрогнется и, завывая и охая, побежит по спящим городским улицам.

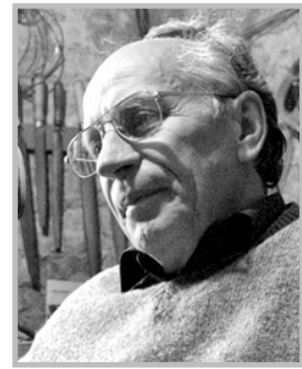
Теперь подними руку и поставь жирную черную точку.

Теперь подними бутылку и посмотри на свет. Времени у тебя не осталось.

Перевод Виталия Асовского

Михаил НИКИТИН

КАК ЦАРЬ БОРИС ПОВСЕМЕСТНУЮ ПРИВАТНОСТЬ ВВОДИЛ (Сказка)



Давненько это было. Проснулся как-то в полдень царь Борис, протер свои очи ясные, испил рассольчика капустного, чтобы кислотно-щелочной баланс в норму привести, и решил с документами поработать. Он еще с вечера хотел за бумаги засесть, да боярин Черномыр отвлек. Привалил как раз к полуночи и предложил испробовать шато де мое с фуа-грой в желе с шампанским и фондю по-королевски, которые якобы по случаю достал. Хотел царь Борис от пробы отказаться, да уж больно боярин Черномыр приставал.

– Давай, – говорит, – вердикт высокий вынесем этому шато де мое. Больно, много пиетету ему боярин Вяхирь выдает. Говорит, мол, не вино, а амброзия небесная.

Пришлось испробовать. Опрокинули они с боярином Черномыром с полдюжины бутылок хваленного шато де мое, закусили французскими деликатесами и под утро вердикт высокий вынесли: винцо так себе, ни то, ни се, а вот фуа-гра и фондю как закусон отменны. Под разяйскую горилку очень даже хорошо пойдут, ибо вкус приятный имеют и сытны в меру. Потому надлежит закупить этой фуа-гры и фондюшниц впрок для застолий торжественных и пиров царских.

Поправил, стало быть, царь Борис свой кислотно-щелочной баланс и на ясный ум вспомнил про вердикт утренний. Сразу же кликнул министра финансов боярина Задора, чтоб распоряжение по французским деликатесам дать. Явился боярин, стоит у двери, переминается с ноги на ногу, папку с бумагами в руках держит, ждет указаний.

– Послушай, боярин Задор, мы тут давеча с боярином Черномыром по размышлению добром решили у лягушатников фуагры закупить для званных застолий. Так ты, мил человек, подсуетись и прикупи этой самой фуагры для царского стола впрок. Да про пиндюшницы не за-

будь. Их тоже надо с запасом купить, чтоб все мужи государственные пиндю на царском пиру испробовать могли. Пора уже к Европе лицом повернуться. Не все ж щи разяйские лаптями хлебать. Потому не стой как истукан, ступай да поживее повеление мое исполни.

Остался на месте боярин Задор, почесал озадаченно затылок и спросил робко:

– Прошу пардону, царь-государь, потому как уточнить хочу, о какой пиндюшнице вы речь вести изволите. Не слыхивал я ранее про оную штуковину.

– Вижу, отстал ты от жизни, боярин, раз про пиндюшницу не знаешь. А пиндюшница, между прочим, вещь полезная, она прямо за трапезным столом еду на огне готовить позволяет. Оттого та еда пиндей называется.

– Не гневайся на меня, царь-государь, должен я, ваш слуга покорный, поправить вас. Не пиндю, а фондю это блюдо называется. Потому посудину, в которой сие блюдо готовится, фондюшницей кличут.

– По мне, боярин, невелика разница, что как кличут: фондю или пиндю. Главное, что за этим понимается. А фондю, как ты изволишь выражаться, блюдо отменное. Потому и поручаю тебе закуп большой сделать. Уразумел али нет?

– Уразуметь-то я уразумел, царь-государь, да вот исполнить ваше повеление никак не смогу.

– Это как не сможешь исполнить? – оторопело произнес царь Борис. – Уж не жар у тебя в голове, боярин?

– С головой у меня порядок, царь-государь, а вот с казной беда. На сегодня пуста казна государева. Даже завалывшегося пятака в ней не найти. Все до последней копейки истрачено.

– Шта, шта ты говоришь, рыба душа?! Как это, тридцать на пятьдесят, казна государева пуста? Как это, тридцать на пятьдесят, денежки казенные истрачены? – возопил царь Борис.

– Известно как, ваше царское величество, денежки казенные потрачены. На нужды и потребности текущие они пошли, – внутренне холодея, ответил боярин Задор царю Борису.

– Кто тебе, тридцать на пятьдесят, дал право такое финансы казенные без оглядки транжирить? В тьмутаракань тебя, рыба душа, сошлю за недогляд и растрату средств казенных! – грозно произнес царь Борис.

– Не виноват я, царь-государь, в транжирстве, ей-богу не виноват, – испуганно залепетал боярин Задор, осеняя себя крестным знамением. – Все делал, как вы того велели. Ни копейки без вашего соизволения не потратил. Вот у меня при себе и баланс расходный есть. Все тютелька в тютельку сходится.

– Засунь свой баланс себе в фукалку! Там ему самое место! Мне, рыба душа, для державного правления не твои балансы дерьмовые, а финансы царские потребны! Отвечай, тридцать на пятьдесят, куда деньги из казны подевались? Ведь еще давеча ты говорил мне, что финансы в казне есть.

– Так то давеча было, царь-государь, – дрожа от страха, ответил боярин Задор. – А потом вы День суверенитета Разии праздновать пожелали. Да так, чтоб всей Европе завидно было. Поэтому финансов приказали не жалеть. По всем городам и весям наказали народные гуляния устроить с музыкой, танцами, феериями, фуршетам, снедью даровой и медовухой халявной. Заморских гостей повелели принять по высшему классу, ни в чем им не отказывать и дорогими подарками на дорогу одарить...

– Неужто и взаправду, тридцать на пятьдесят, все денежки на торжества потрачены? Может, в сусеках державных что-нибудь сохранилось? – упавшим голосом спросил боярина царь Борис.

– Ни в сусеках, ни в закромах державных, царь-государь, денежек нынче нет. Сейчас в них только голый вассер гуляет.

– А этот Вассер что там ищет? – брякнул невпопад царь Борис и, поняв погоду иносказания боярина Задора, озабоченно спросил:

– Что же делать надобно, боярин Задор, чтобы денежки в казне государевой не переводились?

– По этому вопросу, царь-государь, вам лучше всего к Рыжему Чубу и хитрому Лифвшицу обратиться. Они давно балаболят, что знают секрет некоего чуда, которое всех разяйцев обогатит. К тому ж у них и советники заморские есть, которые на чужой финансовой беде не одну собаку съели.

– Быть по сему, Задор. Зови на совет тайный Рыжего Чуба и хитрого Лифвшица. Да смотри, про казну пустую никому ни гугу!

Привел боярин Задор, как было велено, на тайный совет к царю Борису боярина Рыжего Чуба и хитрого Лифвшица в компании с советником заморским Гутенблумом из «Разяя Интернейшенал». Поведал царь Борис им свою беду и попросил надоумить его, как казну государеву наполнить.

Первым взял слово боярин Рыжий Чуб:

– Понятна нам забота ваша, государь-батюшка. Готовы мы с вами своими мыслишками поделиться, как дела с царской казной поправить. Позволь советнику Гутенблуму слово держать. У него есть, что сказать по данному случаю.

– Валяй, – вяло махнул рукой царь Борис.

– Великий и несравненный царь Борис, знаю я, что бывали вы в стороне заморской и видели, как заморцы живут, – начал свою речь советник Гутенблум.

– Как же, видел, привольно живут заморцы.

– А почему заморцы привольно живут? – Спросил советник Гутенблум.

– Знамо дело, демосо кратия тому причиной.

– А вот и нет, великий царь Разяи!

– Как так нет, когда мне мой друг де Билл про то говорил? – удивленно спросил царь Борис.

– Иного ваш друг де Билл и не мог сказать. Работа у него такая – демосо кратию восхвалять и других к ней понуждать. Истинными же основами заморского процветания, великий царь-государь, приватная собственность и свободная торговля являются.

– Будет тебе, советник Гутенблум, мне на уши лапшу вешать. Да, у нас каждый разяй после гандар-реформы собственником стал. Свободная торговля на каждом углу идет. Вон, смотри, весь стольный град торгаши в большую толкучку превратили. Даже у стен Кремля Черкизон устроили. Процветания же в Разяе как не было, так и нет!

– О, что и требовалось! Есть рынок и есть рынок, есть приватная собственность и есть приватная собственность! Одно и то же вроде бы, а какая разница!

– Не понял?! – простодушно признался царь Борис.

– Прошу пардону, великий и мудрый царь Борис. Это я так, сам себе сказал, что большая разница бывает с приватной собственностью и рынком. Вот скажите мне, кто хозяином Черкизона является?

– Думаю, про это даже боярин Лужок не знает, а если знает, на дыбе не скажет.

– Вот видите, парадокс получается: собственность есть, а собственника нет. И так во всем в Разье. По моему разумению, великий царь-государь, нет в Разье приватности требуемой. Все-то у вас казенное или сворованное: земля, недра, нефтя, газея, руды, леса, мануфактуры. Оттого бизнесу должного нет, так как в делах хозяин настоящий отсутствует.

– Как это хозяин настоящий отсутствует? А я кто тогда, по-твоему, буду? Пятое колесо в телеге, што ли? Ты, мил человек, говори, да, не заговаривайся. Я хозяин всего в Разье. Настоящий хозяин! Как чего решу, так оно и делается. Сказал – быть суверенитету в Разье, и стал суверенитет в Разье. Сказал – быть в Разье демосократии, и стала в Разье демосократия. Потому я и есть настоящий хозяин земли разяйской!

– Прошу пардону, великий царь Борис, ежели я не так свою мысль выразил. Не разяй я по рождению, потому не всегда свои мысли поразяйски правильно выражаю. Что же касеемо хозяина Разяи, так всему миру известно, кто есть кто в Разье! Вы, несравненный царь-государь, самый главный разяй! Ваше слово в Разье закон непреложный. Как скажете вы, так оно и будет. Иное я имел в виду, когда про хозяина настоящего говорил. По моему разумению, в Разье хозяина настоящего при деле нет.

– Што-то я опять не понимаю тебя, советник Гутенблум. У меня при каждом деле приказчики есть. Они за всем досмотр ведут и делом во благо державы управляют.

– И как же они управляют, государь-батюшка, когда казна государева пуста? – задал вопрос с подвохом боярин Рыжий Чуб.

– Хреново управляют, песьи дети, – недовольным тоном ответил царь Борис.

– А почему они хреново управляют, государь-батюшка? – продолжил свой вопрос боярин Рыжий Чуб.

– По привычке разяйской все шалаяй-валяй делать.

– А вот и нет, великий царь-государь, не привычка разяйская тому причиной. – Возразил царю Борису советник Гутенблум. – Всему причиной личный интерес. Есть личный интерес в деле – есть успех и деньги, нет личного интереса – нет успеха и денег. На этом простом принципе все процветание Замории держится. Потому-то у нас в Замории все, что деньги может приносить, в умелых и приватных руках находится. За казной же только бездоходное дело осталось: сыром и убогим помогать да армию

под ружьем держать.

– Если тебе верить, советник Гутенблум, то выходит, что у моего друга де Билла за душой ни шиша нет. Так, што ли? – недоуменно спросил царь Борис.

– Не совсем так, великий царь Борис. Шиш-то у него есть, и по заморским меркам немалый, а вот несметной уймы казенного добра, как у вас, царь-государь, нет. Потому-то и может де Билл со спокойной душой по миру вояжировать, на саксофоне упражняться и сатисфакции в овальном кабинете получать. Потому как знает, что его пригляд за казенным добром не нужен.

– Интересно мне, на какие такие денежки мой друг де Билл свои вояжи совершает и эти самые сатисфакции получает?

– Не секрет это, великий царь-государь Разяи. На налоги заморские он вояжирует, армию содержит, сатисфакции получает и много чего другого делает.

– И шта, на все про все у него налогов достаёт?

– Достает, потому как обильны они в Замории.

– Это ж с чего они у вас обильны? У нас вон министр финансов на пиндюшниц, тьфу ты, фондюшниц денег в казне сыскать не может. Говорит, в разрухе хозяйство разяйское, оттого налоговая база слаба.

– Потому и слаба налоговая база в Разье, великий царь Борис, что приватности должной в хозяйстве нет. Будет приватность должная – будет бизнес приватный, будет бизнес приватный – будет база налоговая обильная, будут база налоговая обильная – будет казна царская полна. Такая вот картина маслом получается, великий царь-государь, – объяснил ситуацию с налогами советник Гутенблум.

– Значит, по твоему разумению, советник Гутенблум, казна царская пуста, потому как в Разье приватности должной нет, так што ли? – переспросил советника царь Борис.

– Истинно так, великий царь-государь. Другой причины быть не может.

– И картина маслом с налогами и финансами у меня получится, советник Гутенблум, ежели я в приватные руки казенное добро отдам, так што ли?

– Совершенно верно, царь-государь Разяи, не простая, а чудотворная картина маслом у вас получится.

– Неужто чудотворная! Што-то не верится мне.

– Можете не сомневаться, царь-батюшка, истинно чудотворная картина у вас получится,

ежели вы строго советам «Разяя Интернейшенал» следовать будете. Я готов своей головой за это поручиться. – Постарался уверить царя Бориса боярин Рыжий Чуб.

– С твоей головы, боярин, не велик прок будет, ежели худом обещанное чудо обернется.

– Не обернется, великий царь Борис! Мы в «Разяя Интернейшенал» все, как следует обмозговали. Вот, полюбуйтесь на эти диаграмки, которые наши ученые мужи на суперкомпьютере рассчитали, – с этими словами советник Гутенблум достал из сумы переметной красивые картинки, разложил их на царском столе и стал водить пальцем по разноцветным линиям, поясняя. – Вот это линия ВВП, а вот это линия налогов. Видите, как ВВП и налоги прирастают в Разье с вводом повсеместной приватности?

– Загогулины какие-то разноцветные на твоих картинках, советник, я вижу, а вот ВВП среди них найти не могу. Эко искусно вы его рисунок запрятали, сразу и не сыскать, – сказав так, царь Борис взял одну из картинок в руки и стал рассматривать ее с разных сторон, стараясь найти знакомый абрис ВВП.

– Да, вот же она, линия ВВП, великий царь Борис, синим цветом помечена, – постарался помочь царю Борису советник Гутенблум, указывая на одну из изломанных линий.

– Пикассо, што ли, вам ВВП рисовал? – Спросил, недоумевая, царь Борис.

– Почему Пикассо, Ай Би эМ Роудраннер постарался. А еще он предсказал, что при повсеместной приватности ВВП и налоги в Разье через десять лет прирастут в два раза.

– С чего бы это ВВП так прирастет? Неужто ему гены модифицируют?

– Гены, великий царь-государь, здесь ни при чем. От приватности казенной собственности валовый внутренний продукт Разьи так сильно прирастет, – пояснил хитрый Лифвшиц.

– А-а, – ухмыльнулся царь Борис и просто-душно добавил, – а я-то про другой внутренний продукт подумал. Ну да ладно, убедил ты меня, советник Гутенблум, картинками своего Айбидранера про удвоение ВВП и налогов. Готов я отныне повсеместную приватность в Разье вводить. С чего начинать будем, бояре?

– Перво-наперво, великий царь-государь, надлежит нам казенное добро в умелые и надежные руки передать, – ответил за всех советник Гутенблум.

– А где мы эти умелые и надежные руки в Разье найдем, ежели кругом одни неумехи и прохиндеи?

– Ну, с этим проблем у вас, государь-батюш-

ка, не будет. Мы вам быстро нужных умельцев подберем, – заверил царя Бориса боярин Рыжий Чуб.

– Хорошо, а как с людишками казенными быть? Они-то казенное имущество давно своим считают. Ежели я имущество казенное нужным людям раздавать начну, они своей доли требовать станут, беспорядками грозить будут.

– Не беспокойтесь, государь-батюшка, никаких беспорядков не будет, – постарался успокоить царя Бориса боярин Рыжий Чуб. – Чтобы недовольства у людишек казенных не было, мы им всем бесплатно ваучеры благодарящие выдадим.

– Что за хреновина такая эти ваши ваучеры благодарящие будут? – спросил царь Борис.

– Ваучер благодарящий – это цидулка волшебная. Всяк, кто ее в руки получит, в чудо верить начинает, – пояснил ситуацию с ваучером боярин Рыжий Чуб.

– Ну, и в какое чудо разяи поверят? – Спросил царь Борис.

– В самое желанное чудо, царь-батюшка, – ответил боярин Рыжий Чуб. – Поверят они в то, что ваучер благодарящий в один миг их богатыми владельцами казенного имущества сделал. Потому спокойно на большой раздел казенного добра смотреть будут.

– Хитро придумано, – удовлетворенно молвил царь Борис. – И как долго вера в это чудо держаться будет?

– До той поры пока все казенное добро в надежных и умелых руках не закрепится. – Заверил царя Бориса боярин Рыжий Чуб.

– А после этого потомки не станут меня недобрым словом поминать? Мол, провел их на ваучерах царь Борис.

– Век долог, а память коротка, царь-государь. Через десять лет мало кто из разяев вспомнит про ваучер благодарящий, даже ежели этот ваучер благодарящим окажется. А вот, когда вы, царь-государь, изобилием приватным разяев одарите, потомки вас завсегда только добрым словом поминать будут, – заверил царя Бориса хитрый Лифвшиц.

– Коли так, принимаю вашу идею с ваучером благодарящим, тьфу ты, благодарящим, бояре. Сегодня же дам команду царской канцелярии указ по приватности повсеместной готовить. Думаю, за неделю они управятся. А ты, боярин Рыжий Чуб, за это время умельцев надежных подбери.

– Не изволь сомневаться, государь-батюшка, подберу самых умелых и надежных. Уж они-то чудо экономическое в Разье вмиг сотворят.

– И штоб, как оговорено, с казной несметной и налогами обильными.

– И с казной несметной, и с налогами обильными, и фуршетами королевскими! – горячо уверил царя Бориса боярин Рыжий Чуб.

– Благодарю вас сердешно, бояре, и тебя, советник Гутенблум, за советы дельные. Сняли вы с моей души камень тяжелый. Даже дышать стало легче. Теперь спокойно глядеть в день завтрашний буду. А потому приказ вам устный даю – завтра же отправиться за дальние горы и синие моря на поиски умельцев надежных для казенного добра. Ну, с богом, бояре! Впереди нас ждут великие дела!

На том и расстались царь Борис, бояре Рыжий Чуб, Задор, хитрый Лифвшиц и советник Гутенблум. Уже на следующий день престольная канцелярия царский указ обнародовала о повсеместной приватности и благодарящих ваучерах. Как явствовало из указа, каждый разяй вместе с ваучером благодарящим получал неотъемлемое право на весомый кусок казенного пирога. Боярин Рыжий Чуб по данному случаю конкретно сказал: ваучер благодарящий – это два выездных экипажа на мягком ходу и одно уютное шале у теплого моря. А еще он про удочку сказал, которую каждому разяю в придачу дали, чтоб рыбку в море приватности ловить. Услышали про экипажи и шале разяи и, конечно, ошалели от счастья. Потому приняли повсеместную приватность, как в «Разяя Интернейшенал» задумали, за маму родную. Вот только с удочкой незадача вышла. Поверили многие разяи в иносказание Рыжего Чуба и стали ждать свою удочку. Ждали-ждали, не дождались и стали жалобы царю Борису жалобу писать: «Так, мол, и так, царь-государь, обещал нам Рыжий Чуб удочки халявные выдать для ловли рыбы в море Приватности. Обещал, да слово свое не сдержал. Поди, налево сплавил наши удочки, а нас, твоих холопов и смердов верных, с носом оставил. Потому просим тебя нижайше в деле удином разобраться и справедливость восстановить...»

На десятый день после встречи тайной с боярами Рыжим Чубом, Задором, хитрым Лифвшицем и советником Гутенблумом принял царь Борис компанию молодцев знатных во главе с боярином Рыжим Чубом. Были все молодцы как на подбор: фигурами статны, лицами приятны, волосами чернявы, умом величавы. Увидел царь Борис бояр Абрамчика, Дерибаса, Фрида, Смолу, Ходорка, Гуся, Вексея, Березу, Рашу, Мордашу, Зюзю, Лису, Махмуда, Аликпера, Прохора и Потану и понял, что в надежные

руки казенное добро попадет. Понял и просиял от радости.

– Ну шта, молодцы-удальцы, готовы тяжкий груз приватности повсеместной на свои плечи взвалить?

– Готовы! – в один голос ответили молодцы.

– Готовы казну царскую несметными финансами наполнить?

– Готовы, царь-государь! – снова в голос ответили молодцы, а боярин Абрамчик добавил бойко. – Да хоть завтра, царь-государь!

– Ну, шта, вижу, полное ГТО у нас с вами получается. Теперь можно и к боярину Якубчику пойти колесо фортуны крутить.

Сказав так, царь Борис повел славную ватагу в залу, где стояло большое волшебное колесо фортуны. Было то колесо расписано яркими красками, от центра его цветными лучами золотые скрижали расходились, на которых витиеватыми буквами начертано было: нефтя, алюма, железо, платинум, химиза, карбоникум, гидра, мануфактура.

Первым испытать колесо фортуны царь Борис доверил боярину Абрамчику. Крутанул боярин колесо изо всех сил молодецких. Закрутилось колесо фортуны юлой резвой и запело сиреной сладкозвучной. Зарябило в глазах молодцев от быстрого коловращения. Затаив дыхание, стали они ждать, когда колесо фортуны остановится. Наконец замерло колесо, и главный круговерт Разяи боярин Якубчик восторженно воскликнул:

– Es ist fantastisch! Суперприз, господа, и нефтя Сибнафты уходит к боярину Абрамчику! Виват боярину Абрамчику, виват!

– Виват боярину Абрамчику, виват! – прокатилось по залу.

Следующим колесо фортуны крутил боярин Дерибас. Вновь зарябило в глазах у молодцев от быстрого коловращения, вновь затаили они дыхание в ожидании, когда колесо остановится, и вновь восторженный голос боярина Якубчика поверг всех в изумление:

– Es ist unglaublich! Опять суперприз, господа, и алюма Краснояря переходит к боярину Дерибасу! Виват боярину Дерибасу, виват!

С этого момента все пошло как в сказке. Только и успевал боярин Якубчик выкрикивать es ist fantastisch или es ist unglaublich да пояснять, что нефтя Юкки ушла к боярину Ходору, нефтя Олелукойе – к боярину Аликперу, нефтя ТяНиКа – к боярину Векселю, нефтя Сидянка – к боярину Фриду, железо Магниты – к боярину Рашу, железо Черепца – к боярину Мордаше, железо Новолипы – к боярину Лисе, платинум

Норы – к боярину Потане, карбоникум Кузбасы – к боярину Махмуду... Никого не обделило волшебное колесо фортуны. Всех щедро одарило казенным добром: и боярина Гуся, и боярина Березу, и боярина Зюзю, и боярина Прохора, и боярина Смолу. Кому химизы, кому гидры, кому мануфактуры подкинуло. Самым наилучшим образом казенное добро пристроило. Потому как искусственным интеллектом обладало. Знало заранее, кому и что в умелые руки передать, к тому ж без свар ненужных и претензий сквалыжных.

За делом великим незаметно время пролетело. Когда же последний суперприз ушел в умелые руки, царь Борис довольно потер руки и изрек:

– Ну, шта, молодцы, довольны тем, как фортуну раскрутили?!

– Довольны, довольны, царь-государь! – в голос ответили молодцы.

– Будет, с чего приватность обустроивать?

– Будет, будет! – в унисон ответили молодцы.

– Ну тогда, как говорил боярин Гагара, поедали! И чтоб про царскую казну не забывали!

– Не забудем, царь-государь! – дружно откликнулись молодцы.

– А мне, царь-государь, так ничего и не перепало? – нарушил общее ликование обиженный голос боярина Якубчика.

– Как ничего?! Не может такого быть! Дарую тебе, боярин Якубчик, в пожизненное пользование волшебное колесо фортуны. Крути его чаще, и свои миллионы ты быстро накрутишь.

– Grand merci! – просиял от радости боярин Якубчик, согнувшись в низжайшем поклоне.

С этого часа и началась Великая приватность в Разяе. Потекли стремительным потоком за границу приватные нефть, газ, железо, платину, карбоникум, химиза и лес. Вслед за ними станки и орудия мануфактурные, дороги железные, суда рыболовные и военные туда же отправились под видом утиля дешевого. Ничто от острых глаз новых совершенных менеджеров в Разяе не утаилось. Быстро зачистили они в поисках начального капитала Разяю от всего ненужного и хлопотного, что на виду было, дымил, шумело, крутилось и легкий продукт

разяйский производило. А заодно своим мануфактурным работным людям вольную от наемного труда выдали. По этой вольной могли бывшие работные люди не вставать спозаранку на работу в неудобные и шумные цеха. Даровали им вместо этого совершенные менеджеры право царское нежиться в постели до второго пришествия, празднично прогуливаться по улицам или просто валять дурака. В общем, вольную на все времена даровали своим мануфактуриям.

И с казной царской все как нельзя лучше, получилось. Уже на следующий день после Большого передела она златом и серебром наполнилась. Сдержали свое слово удалыцы-молодцы. И напоминать не пришлось. Возрадовался и возликовал царь Борис. Срочно вызвал боярина Бороду и дал ему наказ Кремлевский дворец в порядок привести. Денег на то не жалеть, златом залы расписать, дорогим хрусталем и самоцветами разными украсить. Рьяно за исполнение приказа царского боярин Борода взялся. Не успел царь Борис и глазом моргнуть, как дворец в красе невиданной предстал. На радостях великих устроил царь Борис пир званый, на который дворян столбовых и олигархов разяйских пригласил. Когда собрались гости, удивлению и восхищению их не было предела. В невиданной красоте предстали перед их взорами залы дворцовые. Тонули они в разливах хрустального света, а столы венецианские из дерева красного ломались от блюд изысканных. И совсем непросто было сыскать среди застольного изобилия фуа-гра в желе с шампанским и фондю по-королевски.

Среди гостей званых увидел царь Борис боярина Черномыра, позвал его к себе и сказал:

– Мог ли ты, боярин, еще недавно подумать, что возможна такая ляпота? Помнишь, как ты меня своей фундей и фуа-грой хотел удивить? А сейчас погляди, какая красота кругом. И всего-то понадобилось указом царским повсеместную приватность ввести. И как это мы, олухи царя небесного, столько лет без приватности повсеместной жили. Зато теперь, боярин, с нами бог и приватность! Лакаем!

– Лакаем! – Ответил боярин Черномыр и залпом выпил большую чашу «Шато Лафит» 1917 года.



Игорь БЕЛОВ

* * *

По улице немецкой узкой
пройди с мелодией внутри.
Воздушного налета музыка
над сновидением парит.

Тебе приснился этот город.
Перелицованный войной,
он вроде ордена приколот
к сюжетной ткани бытовой.

Ну, здравствуй, просыпайся, что ли,
ведь города такого нет,
есть привкус объяснимой боли
у контрабандных сигарет.

А ты – проездом, и с вокзала
к руинам памяти чужой
спешит, сияя краской алой,
автобус с пламенной душой.

И под восточно-прусским небом,
все понимая наперед,
держа равнение налево,
неподражаемо пройдет

любовь, как новость рядовая,
и нам останется одна
развязанная мировая
неслыханная тишина.

* * *

Тонет смерть в полусладком вине.
Наши дни по канистрам разлиты.
На войне этой как на войне
мы уже не однажды убиты.

Календарный листок догорел.
Кружит бабочка-ночь по окопам.
В подвернувшемся школьном дворе
мы стоим, как под Колпино, скопом.

А в квартале отсюда, чуть жив,
за безжалостным морем сирени
проплывает избитый мотив
в синеве милицейской сирены.

Это он на излете весны
выносил все, что свято, за скобку
и в твои нездоровые сны
авторучкой проталкивал пробку.

Так в борту открывается течь.
Золотое стеклянное горло
покидает невнятная речь,
проливаясь печально и гордо,

и поэтому ты за двоих
говоришь, и целуешь, и плачешь,
пахнут порохом губы твои,
но от слез этот запах не спрячешь.

Наши легкие тают, как дым,
и поскольку, по верным расчетам,
артиллерия бьет по своим,
не имеет значения, кто ты.

Наступает последний парад,
и бутылка с оклеенным боком
полетит, будто связка гранат,
в темноту свежeweмытых окон.

Эта ночь обретет навсегда
смуглый привкус пожаров и боен.
Не любовь, не иная беда,
просто сигнализация воет.

Только кажется, это поет
за разбитым стеклом и забором
мимолетное счастье мое,
громяхая по всем коридорам.

БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ

Закурим на прощание, и вдоль трамвайной линии
один из нас отправится – так отпусти меня,
дождём отполированный парк имени Калинина
с печальными приметами сегодняшнего дня.

Был праздник, было целое столетие в прострации,
друзья лежали пьяные, как павшие в бою.
Был дождь, толпа растаяла, всюду цветет акация,
вино и страсть, как водится, терзают жизнь мою.

А на скамейке выцветшей, среди живых и мёртвых,
ведёт беседу с облаком под перезвон листвы

старик в бейсболке розовой и в пиджаке потёртом
с неполным рядом пуговиц и рукавом пустым.

Отгрохотала музыкой и холостыми выстрелами
большая жизнь, привыкшая не замечать в упор.
Взгляни, как героически в руке его единственной
дрожит слегка увядающая «Герцеговина Флор».

И он уходит медленно, молчанья не нарушив,
а в старом парке отдыха, под небом голубым,
асфальт блестит, и радио транслирует «Катюшу»,
и исчезает молодость, как папиросный дым.

Любуясь мокрой зеленью, дрянную запись слушая,
пойму, как верно, милая, рифмуется с тобой
простая эта песенка про яблони и груши,
и безусловно книжные туманы над рекой.

И я пойду по городу сквозь центр, искалеченный
войной и русским бизнесом, шагая всё быстрее
туда, где неизменная весна и наши женщины,
живущие на улицах разбитых фонарей.

Закат над новостройками растаял, небо хмурится
и ночь большими звёздами на плечи мне легла.
Идет солдат, шатается, по грязной, тёмной улице,
но от улыбок девичьих вся улица светла.

* * *

Временами улицы пахнут мятой,
мир потрепан, но всё-таки моложав,
и в подушку лицо неохота прятать,
целый ворох событий к груди прижав.
И, ресницы бессонницей окропив,
чей-то профиль нечаянно заслоняет
недостроенный храм на чужой крови,
взятый в скобки дождем в середине мая.
Скучно стало, и нечего рассказать,
даже книжные полки до блеска вылизаны –
прогуляться налево теперь нельзя
рука об руку с классиками марксизма.
Ну, а воздух на ржавом штыке повис
там, где мемориал, точно знак вопроса,
и в учебниках пригоршни стреляных гильз
кромку неба забрызгали звёздной россыпью.
Вот и твой подоконник сиренью взорван,
вот и музыка ловко петлёй затянута
на букетах, и память бормочет: «Здорово!»,
и фальшивые ноты в петлицах вянут.
Век наш короток, он не калашный ряд,
и пускай он точнее, чем часы на Спасской,
не сегодня, так завтра его до пят
обольёт некролог типографской краской.



Сергей МИХАЙЛОВ

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ФИАСКО

КОРОТКИЙ БЛЮЗ

Gone with the wind is my love...

Утром, как я уезжал,
встречный ветер клонил деревья,
трещал в кустах, морщил озёра и реки.
– Что ж ты наделал? – качал он моей головой.
Сокрушался: – Что делаешь?

Вечером, как возвращался,
не было ветра в помине, стихло в лесах,
безмятежные воды сопровождали меня всю дорогу,
– Посмотрим-посмотрим, – молчало всё, затаясь, –
Что теперь с ними будет...

* * *

... колебания поколения ...

Ян Сатуновский

С грустью смотрю, как уходят
в трэш, китч и фарс мои конфиденты,
с кем пролетели весёлые годы надежд и открытий.

Так же, должно быть, они
видят меня отступающим в тень смирным шагом,
с миной, как тара пустая, и взглядом тяжёлым.

(Время – вот говорят – движение после Большого Взрыва.
Малым осколком его, нам, возможно ли остановиться?
Нет: разбегаясь, мы раздвигаем границы этого мира.)

ФИАСКО

пану когито

1

телефонный звонок застигает его врасплох
заставляет вздрогнуть
обрывает на полуфразе

он только хотел сказать
что не жалуется телефоны
что нужно держать ухо востро

в разговорах с безликими чревовещателями
и что нельзя верить слову
если не видишь глаз собеседника
поворота его головы
не слышишь его дыхания
а разговаривать с пустотой
и неживым предметом
признаки сумасшествия

он один
на один
со своим кредо
о не вероломстве

и всё-таки
в этой битве
а это неравная битва
бой с тенью и затяжная осада
слабейший
он преисполнен
решимости проиграть

он молча снимает трубку

2

он сидит в привокзальном кафе

по телевизору самсунг в прямом эфире
на всю страну и много дальше
в храме Христа Спасителя
отпевают первого президента России

пластиковый китайский стаканчик
с польским капучино амаретто
прогибается под его сильными пальцами
обжигая их в знак того чтобы с ним считались

это политика
реальная зримая
тотальная и бесстыжая
политика наших дней

думает он

не отрывая глаз от экрана
и пальцев от ободка стакана
чтобы не отстать от времени
и быть со всеми

самсоны не умирают
когда сердце выходит из строя
их поглощают другие самсоны
с пожизненным сроком гарантии

в жизнь вечную в микрофон
принимаю тебя поёт всероссийский батюшка

господи
у меня же в три лев

понимает он
с ужасом перед неведомым
глотаёт остывшую благодать
и разжимает пальцы

3

прокравшись в стан победителей

в порядке авантюрного опыта
он пытается представить себе
ход их мыслей и образ чувств

всё богатство и волшебство
внутренне содрогается он
положительных ощущений

фиаско его
оглушительно великолепно
и как никогда убедительно

[арф'эй]

«Всё выдумал поэт – любимых, дом...» Андрей Тозик
«Не суди о поэтах по их поступкам...» Игорь Белов
«Орфей в царстве мёртвых» Екатерина Завершнева

Знакомьтесь: Орфей.
Произносится долго: а-а-арф'э-э-эй.
Нараспев. Девушкам нравится эта длительность, «нега».
Чем знаменит? Чем хорош? Собою хорош, ей-ей!
Насмешник, кутила, хам, и совесть чернее снега.

Да, ко всему – поэт!
Ну, как поэт – так, так себе поэт.
Сам себе поэт. Впрочем, талантливый декламатор.
Юный бутон – чуть зарделся, но, будучи им воспет,
вянет, словно сорвали его. Такой вот артист-дефлоратор.

Всё из любви к прекрасному.
Да он и сам не скрывал:
– В рот, – острил, – песню ту, от которой Эрот зевает.
Вы, мля, блеете, как сосунки, а я среди вас – марал.
Голос мой не славу зовёт, но к любви взывает.

Громче, короче, крикнешь – скорей переспишь.
И это работало: девы той «голосины» ради
отовсюду несли ему свой первоцвет. То бишь,
увивались вокруг него и стелились, как, натурально... нади.

Эвридика? Что «Эвридика»?
С ним? Нет, не знаю такой.

Ах, жена... Эвридика, значит. Хэх, пускай будет Эвридика.
Будет – потому что не есть. Ни здесь, ни за той рекой.
А давать имена пьяным бредням, по-моему, просто дико!

Нет, я понимаю: поэту можно,
заложнику грёз.
Он сам не всегда отличит, где была, а где небыль,
ибо нетрезв рассудком. Только не относитесь всерьёз
к этой его фантазии: он и женат-то ни разу не был.

«Вызвать к жизни любимую»...
«Вернуть из небытия»...
Пафос нашей поэзии меня, вот именно, умиляет!
Это сошествие к мёртвым с каждым после соития
регулярно случается – так любовь умирает.

И тут уж зови не зови, хоть пой, а хоть волком вой –
Ничего не воротишь, и никто к тебе не вернётся.
Ты один – вернулся – зачем-то опять живой,
И из горла невесть что рвётся – не верится и не врётся.

НОВЫЙ АНТОНИЙ

Вслушайся в твою последнюю радость.
К. Кавафис

Когда, к вящей радости всех невинных, деятели из «Ъ» установили свою диктатуру, моя бывшая, примкнувшая к ним на последних (самое горестное, что – честных) выборах, серьёзно продвинулась и получила пост в местном партаппарате.

Началась эра возмездия.

Нас, убедивших себя счастьями и несчастьями в искуплении давних ошибок – стыдных грешков беспечных старателей демсвобод, история призвала к ответу.

Мои друзья – а врагов я по слабости не нажил – были первыми, кто ушёл, как говорили, «на Ъ»; одни – с непокорностью оскорблённых, прославив изменниками среди пассивного большинства, другие – исполнив как должное трудную роль в новой великой драме, последние – целуя в слезах умиления руки своим убийцам.

(Жаль, если безумие помешало им насладиться триумфом возлюбленной справедливости!)

После друзей она позаботилась о моей семье... Я так и не смог объяснить детям, что стало с их матерью. Мне никто не сказал, что случилось с детьми.

И вот я один – на её неподкупной ладони, под участливым взглядом – лишённый всего, исключённый из жизни, неприкасаемый и ничтожный, возвращённый себе.

Отвратительный. Благодарный.

КАТАКЛИЗМ

...последний час природы.
Ф. Тютчев

Три дня крутило и ломало,
упругий воздух лупил наотмашь,
домá содрогались в холодных ливнях.
На четвёртый стихло.

Но люди...
Посмотрите, что с людьми!
Они просят прощения
друг у друга.

Геннадий ЮШКО

ТЕНЬ

повести Вячеслава Карпенко «Проклятие (Мороки)»

1. СЭДЮК

Люди одежды носят,
Некоторые,
 как успех.
Голою ходит осень,
голыми: дождь и снег.

Сузились звуки и тени
и погрузились в сон.
Шорох с тропы оленьей,
выдохшись,
 сполз под уклон,
и, прижимаясь к насту,
замер,
 как мёрзлый кол.
Филин
 взглядом лупастым
по тишине провёл.

Рано устала осень.
Быстрые холода.
Будто и не было вовсе
осени никогда.

2. ИСПОВЕДЬ ЕРЕМЕЯ

У кромки ручья – лёд.
В сопках совсем стыло.
Холод к земле жмёт
и заползает в жилы.

Тело своё грузное,
очень большое тело
вижу в санях тунгуса:
тихое. Отболело.
Значит Господь простёр
длани к нему и взгляд
или везут на костёр –
прямо с мороза в ад.
Мозг
 встрепенулся от жути,
мысли

как липкие жабы.
Это шайтан мутит
мороком
разум мой слабый.

Золотом его застит,
роскошью
стен дворца.
Зазолотился заступ
в черепае отца.
В черепае, мной
разрубленном
будто кочан капусты.
Месяц пошёл на убыль...
Чтоб ему было пусто!

Филин на меня
Выпялил
око своё ледащее,
сердце,
ухая выпью,
заколотилось чаще.
Заколотилось по дому –
руки горят по локти –
за золотым ломом
очередь мёртвой плоти.

Явь и виденья
жёстко
сплелись.
Жажда извёсткой
с глотки сдирает слизь.
Сухо
во мне и в мире,
только Сэдюка бубен
с жизнью меня мирит
и с черепом, тем, разрубленным.

Валяются из карманов
будущие хоромы.
Вызволилось шаманом
сердце от Агди-гроа.

Быстро устала осень.
Острые холода.
Только Сэдюк вовсе
устал навсегда.

Смехом Ремей потушил
исповедь свою тихую.
Будто всю боль и лихо
выплеснул из души.

3. ПУТЬ ТЕНИ

По каменистому логу,

по кряжистому снегу
иду я
 к тунгусскому Богу –
Альфе тайги и Омеге,
чтоб Духа племён Ухэлога
и пращуров Арапас,
как собственного Бога,
просить,
 чтобы спас
и разум вернул Еремею,
а выстрелы Тонкуля,
чтоб захлебнулись пулями
и онемели.

Просить, чтоб из лап амикана
вырвался Гарпанча,
и крепость его плеча
не раскрошила рана.
Чтоб был у него порох,
ружьё и кремёнь,
но главное – чтобы враг
не перешагнул его тень.

Чтоб выкинул слитки
 ржавые
алчный Иван-снохач,
чтоб баба его рожала,
радуясь
 сквозь плач.

Чтоб яркое время и тусклое –
оборотень - что ни день,
песни твоей тунгусской
не подменило тень.

Люди одежды холят,
души под ними тая.
Голая,
 как воля,
повесть твоя.

ЛИЛИ МАРЛЕН

Раннеутренний Балтийск, бывший когда-то Пилау. К причалу паромного терминала Торговой гавани просачивается круизная шхуна «Лили Марлен». На световом люке палубы седой мужчина тянет неопределённой национальности гармонику. Его голос, приглушаемый влажным воздухом, словно хочет поведать давнюю тайну: «Лили Марлен, мы стоим с тобой под фонарём...».

Ганс написал в общем-то безыскусные стихи в 1915 году. С тех пор их переложили в песни на многих языках. Особенно популярна стала песня в исполнении Марлен Дитрих.

Гебельсовской цензурой песня попадала под запрет, как деморализующая, но в Африке немецкие солдаты отказывались идти в бой, не услышав утром в эфире «Лили Марлен». Простому солдату, насильно отправленному на бойню, немудрёные слова несли ностальгию по утраченной мирной жизни, возвращали к истинному смыслу человеческого простого бытия.

Потом, как результат этого осмысления, появляются книги Ремарка, Олдингтона, Хемингуэя... Потом – Борхерта, Бёля, Ленца, Некрасова, Астафьева... Увы, война организуется правителями, а жизни отдают – солдаты. Народ.

Не зря стою под фонарём:
Придёт Лили, и мы вдвоём
Пригубим шнапс в тени казарм.
Плывать, что будет мне потом!

Лили, Лили,
Скорей приди!

Чёрт создал грязную войну!
Я ж воевал тебя одну –
На вечных прелестях твоих
Безмерно сладок каждый миг.

Лили, Лили,
Ты обними!

Нас ожидает русский фронт,
Оттуда вряд ли кто придёт...
Как упоителен мне плен
Твоих раздвинутых колен!

Лили, Лили,
Прощай. Прости.

За грех меня на небесах
Развешат в ад на их весах.
Но там бутоном твоих губ
Спасусь от страшных мук.

Лили, Лили,
Ты помяни...

Когда пойдёшь под фонарём,
Прольётся дождь и грянет гром –
То плачу я, беспомощно кричу
И мокрым платьем липну к телу...

Лили Марлен,
Лили, Лили...

*Вольный перевод по подстрочнику
стихотворения Ганса Ляпа «Лили Марлен»
Валентина Черноухова.*

Арвидас ЮОЗАЙТИС

М.К. ЧЮРЛЕНИС: органический символизм против декаданса



Последнее десятилетие конца XIX и первые годы начала XX столетий в Литве были совершенно иными, чем в Западной Европе. Сегодня мы свыклись с убеждением, что являемся составной частью великой европейской цивилизации, значит, и потомками единой христианской культуры. Однако эта упрощённая схема искажает пропорции соприкосновения разных величин, а также упраздняет разницу времён и различия народов.

Нам представляется возможность обратить внимание на творчество Микалоюса Константиноса Чюрлёниса (1875-1911) и на опыте художественной традиции убедиться в непростом стыке Литвы и Европы на грани двух роковых столетий.

Первое, что бросается в глаза – это драматизм конца XIX века в Литве.

Коренной литовский народ, привязанный к земле вековыми узами, все ещё дышит деревенской культурой; культура эта – ещё не вкушившая плодов западной цивилизации. Хотя, конечно, патриархальная Литва догадываемся, что где-то совсем недалеко, за горизонтом, наступила эпоха больших городов и что там – повсюду железная дорога, иной технический прогресс. Некоторым из нас, кто побывал за горизонтом, приходится рассказывать про странную жизнь больших городов, про жизненные пряности, излишек. Рассказывают и про новые течения в культуре, про модернизм. Постепенно становится ясно, что Европа – это пространство, насыщенное промышленным и культурным многообразием, что в её городах миллионы жителей, что там говорят по телефону, а в воскресные дни вместо церковной службы посещают места искусственного мира – кинематограф.

А что в Литве?

Литве ещё только предстоит вернуться в некогда построенные и покинутые города. Предстоит заново найти друг друга, свою историческую память, которая помогла бы начать путь национального возрождения. Путь литовской Литвы.

Да, в конце XIX и начале XX столетия литовцы

заново осваивают историю, которая говорит, что некогда мы уже были на вершинах цивилизации – были, да упали в пропасть. Почти в небытие. Как это произошло? Очень просто, ибо было достаточно того, чтобы государственная элита растворилась в польской и русской культурах. Поэтому, осознали мы, жаждая воссоздать Литву, во-первых, придётся отвоевывать гражданские права даже для литовского языка. Более того: мы понимали, что останемся не поняты, т. е. Западной Европе наши стремления ни к чему. Да и чего ожидать? – к тому времени захваченный технической цивилизацией мир двинулся в противоположную сторону – в сторону упразднения национальных различий.

И мы начали. Пришлось опираться на спонтанные силы физически и материально возрастающего народа. Конечно, были нужны и прагматизм, и европейский рационализм. Мы должны были просвещаться и просвещать. Пример стало подавать и национальное искусство.

Успех сопутствовал нам, и за несколько десятилетий Литва подошла к порогу национального государства, которым, были уверены мы, гордиться будет и сама Европа. Гордиться своей образной, самобытной культурой. Разумеется, и создаваемым в Литве искусством. Идеализм, что говорится, бил ключом.

К тому времени европейское искусство, перенасыщенное рационализмом и классицизмом, стало тяжеловатым и скучным. Художники радикально сворачивали в сторону от парадного классического цвета, восстали против всего и вся. Во второй половине XIX века случилась короткая вспышка импрессионизма – она предсказала пустоту декаданса, нахлынувшего на Европу уже в начале XX века.

К тому времени молодая и спонтанная литовская культура понимала, что возрождаться во имя пустоты нет смысла. Иными словами, историческое время Литвы и Европы – не совпадали.

Искусство в самобытной Литве представляло

собой некое языческое служение христианскому Единому Богу. Даже для вольнодумцев и метафизиков того времени создание деревянной скульптуры представлялось святым делом. Для большинства же народа святилищем искусства оставались интерьеры костелов. Рождающиеся в этой среде художники – живописцы, архитекторы, композиторы – позволяли себе лишь незначительное отклонение от реализма – это был национальный романтизм. Таково было отличие культурного опыта Европы и Литвы. Декаданс нам был непонятен.

Но и на этом пути стояли серьезные внутренние предрассудки.

В патриархальной литовской семье художники как таковые не были востребованы. Общество, типичная семья, нуждалось в профессии врача, юриста, ксёндза, чаще – в учителе, инженере. Как правило, семья не поддерживала сына, если тот избирал путь художника. Художник – это кто? Создатель сакральной скульптуры для алтарей божественного храма – это ещё куда не шло, но если молодой человек заболел «чистым» творчеством – это от лукавого, это излишек. За излишек не платят, не обеспечивают даже минимальным содержанием во время учений и странствий.

* * *

В такой вот Литве, когда до конца века оставалась еще целая четверть, родился Микалоюс Константинас Чюрлёнис. Он избрал путь «излишества» – профессию музыканта, композитора. Позднее – и живописца.

Талант М.К. Чюрлёниса раскрылся за пределами Литвы. Он учился в Петербурге, Варшаве, Дрездене, где добился признания и предложений остаться – на хороших началах. Заманчивость мира искусств была для него украшена и приглашением Александра Бенуа – войти в «Мир искусства». Он мог остаться и в других европейских городах – но... Непредсказуемы пути гения, незримы истинные предпосылки их – как большинству почитателей, так и всем его хулителям. Разгадав два радикально противоположных западных кода – символизм и декаданс, М. К. Чюрлёнис решил превратить сентиментализм и религиозную мистику в новый художественный код.

Он решает создать свою симфонию мира. И возвращается домой. Поворот этот был похож на шаг самоубийцы – никак не на судьбу.

Он вернулся в Литву. Вернулся к себе и в себя, а главное – в ту точку культуры, с которой взгляд на мир фокусирует истинное положение вещей. Отойдя в сторону от цивилизации, он смог уже не только прочувствовать, но и увидеть весь трагизм поблекших, угасающих предпосылок и

основ европейского мира.

И М. К. Чюрлёнис нашёл необходимое ему решение, дающее надежду на творческий размах – и это была универсальность иного мира. Дома, в Литве, ещё жили вне избытка и излишества «человеческих отношений», которые захлёстывали людей в городах европейской цивилизации. В Литве ещё умели беречь жизненную энергию.

В Литве его ждали намоленные трудом и любовью вещи, начало мира и гармония.

Он пришел взглянуть на эту «благородную простоту и спокойное величие», на красоту, которой не найдешь на городской мостовой, в неутомимом движении городов. Красота и чудо мира движется на песчаном холме, растет на зеленом лугу, колышется в кроне деревьев, проступает в призрачных тенях тумана над заливом.

Можно ли было понять в то время, что М.К. Чюрлёнис поступил как истинный мудрец, возвращающийся к простоте вещей? Хотя... что греха таить: именно так поступили Поль Сезан, да и Клод Манне. Да и многие из гениев.

Литва М. К. Чюрлёниса – это колыбель символизма в момент сотворения мира. В своём доме человек – сретенье символов, живых вещей, которые не произведены на фабриках и заводах, а рождены в этом мире – руками, ногами, всем житием человека.

Так без особых усилий М. К. Чюрлёнис отверг не только механистичность цивилизации, но и ее упадничество, декаданс. Нemoшь европейского искусства была им преодолена как болезнь. Надо только вовремя отказаться от салонного и городского символизма, бросить заигрывание с просвещённой толпой. Декаданс временен, депрессию можно преодолеть, не отказываясь от сильной стороны западного искусства – классики и рационализма.

Литва дала М. К. Чюрлёнису шанс – и он им воспользовался. Здесь он увидел свободный от декадентства органический символизм.

* * *

Живописные циклы сонат и симфоний М.-К. Чюрлёниса, его канонические рифмы, его фантастические пейзажи и города, каких не бывает на свете, – все эти видения стали образами Литвы. Литовское понимание мира он переплавил в универсальный изобразительный язык, скажем – литовское пространство.

Во время этого открытия мир расцвёл яркими красками радуги – так называемой «музыкальной живописью».

Сказка королей М. К. Чюрлёниса – это на ладнях раскрываемый древнегреческий космос королевства мечты и грёз. Там уют, в котором

начало тайны – охраняемый надеждой мир. Там восходит солнце.

Знание М. К. Чюрлениса – это своеобразное послание Тишины. А рядом стоит – и летит! – и его Соната звезд.

* * *

На первой выставке литовской живописи, организованной в 1907 году в Вильнюсе, М. К. Чюрленис предстал как предвестник – и не был понят. Хотя многие надеялись, и это отмечалось в газетах, что в этой необычной живописи скрыта загадка литовскости, – это не дало избежать конфликта между поколениями, а верней – уровнями живописи. Не многие догадывались, что он станет пророком новой духовности.

* * *

Конфликт не равен конфликту – всё зависит от сталкивающихся величин.

Культурные конфликты, если их амортизируют сильные личности, не взрывают, а создают, и противостояние превращается в творческую энергию.

Не обязательно погружаться в декаданс, пессимизм и наркотики, чтобы все конфликты «пережить» и «преодолеть» изнутри. Здоровая творческая сообразительность подсказывает, что уходить от себя не обязательно.

Один путь преодоления конфликтов предлагал Николай Рерих, в творчестве которого представлены поэтизированные долины и ледники Гималайских гор, цветные просторы и вершины, заслоняющие цивилизацию Запада. Такой синтетический символизм не стал приемлемым для литовского гения.

М.К.Чюрленис принял сентиментализм и религиозную мистику Европы и жителя литовской деревни, преобразив это. Превратив духовные качества в художественный код. Код, одолевший Европу. Он показал это в гавани божьего покоя: в Тишине, и в Знании, и в Полёте. Да и вправду – разве не так? При болезни, в измотанной и обесиленной душе, невзначай возникают видения фантастических пейзажей, неизвестных доселе городов, переплетений небес и морей... Можно ли все это превратить в мощь искусства? Будучи больным, испытывая недостаток в красках и бумаге, М. К. Чюрленис сквозь окно в Друскининкай видел литовский Райгардас, таинственную литовскость, чудесную долину, с детства овеянную легендами. Так человеческое бессилие превратилось в художественную теплоту символизма. От этого никто не остался в проигрыше.

Гению всё это под силу – он видит и слышит гармонию.

М. К. Чюрленис и его метод органического символизма придают творчеству силу полета. Он как бы говорит: символы отражают не наши блуждания, не художественные эксперименты, а скрытый в человеке общественный опыт. Поэтому – и это совсем не парадоксально – литовскому символисту стал близок тот символизм, который в начале XX века открыл Карл Густав Юнг. Немецкий мыслитель исследовал символизм первобытного коллективного подсознания. Скажем, голубь или змея – это не только голубь и не только змея, это ключи к пониманию общественных отношений. Каждый народ и община – это общество и сообщество, в подсознании которого заложен мир. Художник же помогает примитивному миру подняться, взлететь – перейти в художественно преобразованный и переосмысленный, гармоничный мир образов.

М. К. Чюрленису удалось это сделать в Литве, – не понадобилось переселяться в острова Тихого океана подобно Гогену.

* * *

Творческий человек часто возвращается в детство, детскими глазами смотрит на годы зрелости, переоценивает путь жизни. Ему возможна удивительная связь – теплая и непредвзятая, связь между прошлым и настоящим, между Литвой и миром.

Сегодня мы живем в эпоху новых грозных испытаний – на новом витке противостояния цивилизации и культуры. Художники принуждаемы отрываться от мира, в котором были укоренены их отцы и предки. Происходит поместное и принудительное переселение душ. Все мы живем, словно висающие над миром вопросительные знаки, легкие воздушные шары, уносимые электронными ветрами за горизонт, – и все это называют будущим.

Наше будущее незримо.

Но, быть может, в предчувствии гибели нам удастся сохранить гармонический символизм? Если это так, у нас есть шанс сохранить и гуманность, которую проповедовал М. К. Чюрленис. Творчество и судьба его свидетельствуют о великой человеческой слабости и – силе творца. Человеку подвластно многое, он даже немощь превращает в силу. И для этого изначально необходимо немного – лишь знание, где твой дом и что представляет твоя родина. Там берет начало путь к органичным символам.

Так просыпается разумная воля к действию, а там уже – и любовь к миру. Поэтому и в искусстве М. К. Чюрлениса мы можем жить как в Сказке королей, в которой управляет всемогущее творчество – Rex.

Riga

Алла ГОРБУНОВА

ГОФМАН – ПОИСКИ ЛЮБВИ

Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека, – это ощущение таинственности... (Тот, кто не испытал этого ощущения, кажется мне если не мертвецом, то во всяком случае слепым... Я довольствуюсь тем, что с изумлением строю догадки об этих тайнах и смиренно пытаюсь создать далеко не полную картину совершенной структуры всего сущего).

Альберт ЭЙНШТЕЙН

Наступает время, когда любой человек, оглядываясь на прожитые годы, часто с удивлением отмечает, как далеко в прошлом остались для него обиды детства и молодости, эти маленькие трагедии унесены вихрем времени. Где-то там наверху Судьба готовит тот волшебный эликсир, что предстоит выпить каждому, а вот когда мы пробуем его первый раз, это и есть начало наслаждения напитком под названием Жизнь.

Мальчику Тео около четырех; калейдоскоп лиц, мелькавших в его пока короткой жизни, постепенно замедляется тогда, когда он попадает в дом дяди Отто Вильгельма Дерфера. После нервной матери и любвеобильной бабушки его детство быстро закончится под надзором дяди Отто, а в шесть – реформаторская школа и в будущем запланированное изучение права. В этом доме всё спокойно и размеренно, традиционно, регламентировано, как и полагается в мире бюргеров. Это позднее взрослый Эрнст Теодор Амадей перенесет эту ненавистную ему атмосферу в свои рассказы, повести и романы. В этой жизни среди многочисленных родственников не было места любви. Особенно такой, какую ищет всю жизнь каждый и направляет тогда душа все свои силы на эти бесконечные поиски. Потом и Гофман, и его герои будут искать любовь – лихорадочно, страстно, безнадежно... Но тогда он уже начнет создавать мир

детских грез, иллюзий, мечтаний – свой собственный мир, очень далекий от реалий мира взрослых, в таком живет любой ребенок, но не всякий остается в нём навсегда. Для Тео появляется вдруг в этом чопорном, упорядоченном мире дома дядюшки Отто первая лазейка в придуманный им мир и первая страсть, эта страсть – Музыка.

Дядюшка (впрочем, как и все семейство Дерферов) обожал музыку, Раз в неделю он устраивал в своей гостиной концерты для друзей и знакомых, в которых играл сам, приглашал других, и, конечно, заставлял играть юного Гофмана. Мальчик с детства делал поразительные успехи в игре на фортепиано. Правда, успехи проистекали не от этого коллективного музицирования, а от уроков, которые давал мальчику органист Кристиан Вильгельм Подбельский. Польский историк Януш Ясинский в книге «История Крулевца», описывая атмосферу культурной жизни города К. 18-го столетия, где особенное внимание уделяется последней четверти века Просвещения, говорит не только о Гамане, Гиппеле, Канте, библиотеках, культурных событиях, но особенно о театрах. В то время театр был особенно популярен. Ходили в театр как высшие слои, так и средние, рядом с аристократией и представителями власти – мелкие чиновники, купцы и самые обычные мещане. Было очень модно рассуждать о содержании пьес, об игре актеров, о костюмах. В городе был театр на 300 мест (который только в начале 19-го столетия был перестроен на 1000 мест). Ставили и играли бессмертного Шекспира, Расина, Корнеля, Вольтера, Бомарше, из немецких – Лессинга, Шиллера, Гёте, состоялась премьера «Волшебной флейты» Моцарта.

В К. сочинял оперы, оперетты и музыкальные комедии Фредерик Людвиг Бенда. Публике особенно нравилась его оперетта «Луиза», её сыграли 15 раз. Среди местных авторов на сцене шли пьесы Августа Котцеба, Захариоса

Вернера, Фредерика Эрнста Йестера, Людвига фон Бачко. Часто театральные трупы приглашали в дома аристократов, к Кайзерлингам или к бургомистру Бернарду Конраду Гервайсу.

Последнее десятилетие 18-го столетия ограничило роль канторов с их церковной музыкой и мотивами пиетизма. Победила светская тема, которая больше соответствовала духу эпохи Просвещения. Среди музыкантов города особенно важную роль занимал органист кафедрального собора Кристиан Вильгельм Подбельский (1741-1792), который чаще других сочинял произведения светского характера, давал публичные концерты и играл в частных домах. Он находился под большим влиянием музыки Филиппа Эммануэля Баха. Не менее талантлив был ещё один органист – Эрдман Фридрих Зандер. Создав армейский квартет, он давал многочисленные концерты также и для студенческой аудитории. Третим известным городским органистом, настоящей душой музыкальной жизни города К. был Карл Готлиб Рихтер (1728-1809). Его также приглашали к Кайзерлингам. Однако самым знаменитым для города местом, где проходили организованные Рихтером концерты, был Юнкерский дворец. Здесь для горожан впервые прозвучали «Сотворение мира» Гайдна, *Stabat Mater* и *Mesjasz* Генделя, «Израелитяне в пустыне» Филиппа Э. Баха, а также много известных ораторий, симфоний и сонат.

Музыка была единственным видом искусства, поощрявшимся дядей Отто. Все остальное – литература, живопись и прочее – было пустой тратой времени. Но к ужасу дяди юноша преуспел не только в музыке (в тринадцать лет он написал уже собственное музыкальное произведение), но и в рисовании (особенно удавались портреты), к тому же обладал беглым литературным слогом. Правда, перед музыкой все таланты меркли. Ради нее юный Гофман был готов на все. Семейная традиция требовала, чтобы юноша поступил на юридический факультет Кёнигсбергского университета. Он пошел на это, не оставляя тайного плана: скорее закончить университет – стать самостоятельным, – заняться обожаемой музыкой. О днях юности Гофман говорит: «...юность моя подобно выжженной степи, где нет ни бутонов, ни цветов, подобно выжженной степи, усыпляющей разум и душу своим безутешным дремотным однообразием».

В 1792 году Гофман уже студент юридического факультета, ничем особенно не выделяясь, учится прилежно, не так блестяще, как его друг Гиппель, которому он показывает и свои

первые литературные опыты (не сохранились). Гиппель восхищается, критикует и поощряет, таким же образом реагирует и на рисунки друга. Гофман постоянно упражняется в живописи, беря уроки у художника Зеемана. Он не пропускает и дня, чтобы шлифовать свой музыкальный талант, и к восемнадцати годам имеет достаточный опыт, чтобы давать уроки фортепьянной игры.

К этому времени Эрнст приобрел ту характерную внешность, которая практически не изменится с течением лет. Это молодой человек ростом намного ниже среднего, очень худощавый, чуть сутулый. Иссиня-черная шевелюра падает на высокий лоб беспорядочными прядями, нос орлиный, подбородок загнут вверх, словно нос туфли, цвет кожи желтоватый, рот несоразмерно большой, губы плотно сжаты, словно оберегают некую тайну; глаза цвета лунного камня, выразительные и близорукие, блестят и сверкают неугасимым пламенем из-под длинных ресниц. Непрестанные нервные подергивания и отчаянная жестикуляция сообщают всему этому облику гнома необыкновенную подвижность.

Таким предстает он перед своей первой ученицей, которая становится и его первой возлюбленной. Это была Кора Хатт... Эта любовь была долгой, трепетной и трагичной уход от серых будней земной жизни, в которую он входил трудно и болезненно.

В письме от 12 декабря 1794 года он пишет Гиппелю, находившемуся в Арнау: «Я сильно сомневаюсь, что люблю свою подругу со всей силой страсти, на какую способно мое сердце; при этом, однако, я менее всего желаю найти предмет, который бы разбудил во мне это дремлющее чувство – это нарушило бы мой покой, лишило бы меня моего, быть может, мнимого блаженства, и я заранее пугаюсь при одной мысли о той свите, что неизбежно сопровождает подобные чувства – вот они приближаются – вздохи – боязливые опасения – тревога – меланхолические мечты – отчаяние... бр-р, – а потому я избегаю всего, что может повлечь за собой нечто подобное». И 14 месяцев спустя Гофман пишет другу: «...я люблю её до безумия и что именно в этом-то и состоит моё несчастье.» Более всего страдает он от того, что Кора любит его не так безоглядно, как он её. Всю жизнь его будет сжигать тот же самый огонь, терзать то же сомнение...

Предметы любви будут часто меняться, сама любовь останется прежней – той, которая вы-

зревала и переполняла его только в уединении...

В доме на Постштрассе после смерти матери и бабушки Эрнст часто, уединившись в своей комнате, запоем читает: Шиллера, Гёте, Стерна, Свифта.

Закончилась вдохновенная студенческая пора – с музыкой, книгами, театром, на пороге уже стояла «проза жизни». Все складывалось к одному – напряженные отношения с дядей, городские сплетни, желание разобраться в своих чувствах к Коре. Эрнст испытывает большое желание уехать, чтобы обрести долгожданную свободу. К этому времени он выдержал экзамен на судебного следователя и не без участия и сговора многочисленных родственников получает назначение в суд города Глогау в Силезии, где другой его дядя Иоганн Людвиг Дерффер служит советником в суде. Отъезд в мае 1796 года и расставание с Корой явились для молодого человека сильным потрясением. Новое место, Глогау и дом дяди, где он поселился, не дают ему ни долгожданной независимости, ни свободы.

Эрнст характеризует там свою жизнь как неинтересную. Он не может привыкнуть к банальности светских развлечений, и только музыка, живопись и чтение дают силы, чтобы справиться с безысходностью. В этот период Гофман воспринимает и осваивает мир прежде всего как музыкант.

Влияние музыки во всем. Потом он часто прибегает к музыкальной терминологии, говоря о развитии сюжета или поведении персонажей. Из Глогау он пишет Гиппелю: «... любовь и дружба соотносятся так же, как аккорд золотой арфы, от которого перехватывает дыхание, и переливы фортепьяно, отдающиеся в душе нежными и долгими отголосками»... и в конце письма: «От неё (музыки) я чувствую себя незащищённым, как ребёнок; все старые раны начинают кровоточить с новой силой». Тогда в 1796 году он ещё не подозревает, какие испытания придется пройти, несмотря на раннюю зрелость.

Вернувшись в К. на короткое время, он понимает, что былой любви не вернуть.

Попытка забыть прошлое, чуть было не заканчивается женитьбой на кузине Минне Дерффер. Дядю Иоганна назначают советником при Высшем суде в Берлине, и он хлопочет о месте для своего будущего зятя. Перед отъездом Эрнст посещает Дрезден, где бродит по залам итальянских мастеров. Изобилие красоты опьяняет его, все здесь услаждает взор ху-

дожника, писателя и его пылкое воображение. Италия – страна мечты, в ней сосредоточены для него равновесие, гармония, которая так и не будет достигнута им, как и мечта побывать в Италии.

Как было запланировано, в августе он поселяется в Берлине у Дерфферов. В конце 18-го века это город, который можно обойти за четыре часа, скромный, провинциальный, но вечером не следует удаляться от городских стен, ибо можешь обнаружить закрытыми массивные деревянные двери Бранденбургских ворот. Улицы освещены очень скудно, дома одно- и двухэтажные. Но в городе есть оперный и драматический театры, превосходные гостиницы, здесь можно встретить на улице одетых по последней моде актрис, посидеть в нарядной кондитерской и почитать выходящие три раза в неделю газеты. Он гуляет по набережной, его шаги звучат между зданиями, построенными Шлютером, и на каменных плитах церкви Николаи: он посещает окрестности Шпандау и сады Сансуси. Он начинает любить этот город, где ему суждено будет сделать ещё две долгие остановки, вторая завершится уходом в последний путь. Метко отметит его биограф Эрнст Хейльборн: «Гофман дал Берлину его литературное лицо... Через него город получил характер... Он сделал для Берлина то же, что Бальзак для Парижа».

Во время своего первого приезда Гофман часто посещает театр, он очень быстро постигает и осваивает глубинную суть нового увлекательного мира. Он очень способный ученик, к этому времени получивший многостороннее образование в объёме, который редко встретишь у человека его возраста. Очень быстро перестают быть для него тайной тексты драм, музыка для театра, либретто, работа с актёрами, декорации.

Гофман вникает в интриги, насквозь видит амбиции, постигает тщеславие этой своеобразной публики, он завязывает знакомства среди актёров, делит часы досуга между художниками, светскими приёмами, театром, концертами и рисованием. Рисует портреты в классическом стиле, стараясь сочетать точность характеристик с совершенством исполнения.

В письме к Гиппелю: «По будням я юрист и в лучшем случае немножко музыкант, а в воскресенье днем я рисую, а вечером сажусь до поздней ночи пишу очень смешные вещи».

Весной 1800 года Гофман сдает экзамен на ассессора и тут же получает назначение в Познань. В то время Познань – административ-

ный и гарнизонный город, где царила смертная скука, вся казалось, общественная жизнь сводилась к ночным попойкам чиновников и офицеров. Гофман, тем не менее, не пренебрегает участием в этих пирушках. Депрессия после таких ночей и «скука бытия» постепенно формируют противоречивость его натуры, формируют того писателя, каким ему суждено стать. При короткой встрече от Гиппеля не ускользают перемены, происшедшие с другом, новые странности, еще большая неуравновешенность, капризность, взбалмошность, резкие диссонансы. Но Гофман снова выходит из, казалось бы, тупикового положения с той же непредсказуемостью, какой характеризуются все события его жизни.

В 1802 году, получив очередной чин, он расторгает помолвку с Минной и женится на Марии Текле Михалине Рорер (Тщинской). Двадцать лет проживет он с ней. Пожалуй, только дневник, который он начинает писать в 1803 году, несмотря на лаконичную форму, дает возможность понять душевное состояние писателя. Имя его супруги встречается не часто. И вот в таких часто констатациях «Дал жене 20 талеров на платье» или «Заболела жена». И в то же время он обратится к ней в своем завещании, составленном за несколько месяцев до ухода из жизни: «...живём двадцать лет в истинно согласном и счастливом браке. Бог не оставил в живых наших детей, однако подарил нам немало радостей, он подверг нас очень тяжким страданиям, которые мы переносили стойко и мужественно. Каждый из нас был опорой другому, как и надлежит супругам, любящим и почитающим друг друга, что мы и делаем в глубине нашего сердца...»

Гофман вёл преимущественно ночной образ жизни и лишь изредка проводил весь вечер дома. Костюмированные балы, карнавалы, привлекают его своей таинственностью, двусмысленной и буйной стороной, игрой причудливых форм, необычных красок, но более всего ценит он загадочность маски, которая сообщает своему владельцу дар двуликости.

В познаньском обществе пышно цветут интриги, куются заговоры, ходят отвратительные сплетни, враждебность и коварство скрываются за напускным простодушием и приветливостью. Повсюду ложь и обман. Гофман на время откладывает гусиное перо, которое обеспечивает ему успех, и берется за карандаш карикатуриста. Он дает волю сарказму. Во время очередного карнавала пускает по рукам свои опусы. Той же ночью, когда разразился скан-

дал, в Берлине уже получена срочная эстафета. Хотя были сданы на отлично экзамены и был приказ о новом назначении Гофмана в судебные советники, но наказание неминуемо – ссылка в маленький Плоцк, на должность неоплачиваемого ассессора. Теперь надо как-то жить на деньги, высылаемые родственниками из К. Его музыкальные сочинения, оперетта, кантата исполняются в Познани, но не приносят ему ни известности, ни дохода. Ящики стола ломаются от сонат, песен для фортепьяно и гитары, месс и увертюры. Каждый отказ напоминает ему о его плачевном положении.

Гофман ведет две жизни, разительно отличающиеся одна от другой: жизнь чиновника и жизнь художника. Если вторая из них имеет множество ответвлений, как художник Гофман удивительно многогранен, то первая, напротив, идет по раз и навсегда заданной кривой карьеры юриста. Ход её прерывается только внешними факторами. Роковая мистификация во время карнавала – лишь трагическое исключение, ибо здесь чиновник понёс наказание за шутку художника. Имело место досадное недоразумение, короткое замыкание при столкновении двух миров, по сути, не имевших точек соприкосновения. Не следует забывать, что Гофман всю жизнь был безукоризненным, добросовестным чиновником. Когда он восседает за зеленым столом, его впечатлительность полностью отключена. Его ирония, глубокое знание человеческих слабостей, даже его фантазия отложены в сторону и заперты на замок. В такие моменты он снова тот, кем ему и положено быть в силу своего происхождения и времени: прусский гражданин, человек воспитанный в духе порядка и пунктуальности; ревностный и неподкупный государственный служащий, исправляющий свою работу с тем большей добросовестностью, чем большую ненависть он испытывает к навязанной ему деятельности. Этот человек во сто крат страшнее, чем гениальный, преследуемый наваждениями и чертами пьяница.

1802 год. В Плоцке Гофман днем судит мелких мошенников, а вечерами пишет сонаты, оратории, появляется его первая музыкально-критическая статья о роли хора в шиллеровской «Мессинской невесте».

И опять судьба улыбается ему. Его старинный друг Гиппель не только дает займы (как окажется – безвозмездно) приличную сумму, но и ухитряется выхлопотать отмену ссылки, и к тому же на прибыльное место в Варшаве. 1804 год. Солидное жалование. Приличная квартира

в доме на Сенатской – респектабельной улице на берегу Вислы. 1805 год – год рождения его единственной дочери Цецилии.

Варшава, – город, где прусские порядки, российские несчастья, австрийские замашки. На её улочках слышна польская, немецкая, литовская, еврейская речь. Гофман восхищён живописным городом и в тоже время неприятно поражён царящей в нем суетой. Первое время он ворчит, но чувствует, что и он не устоял перед прелестью колонн и меланхоличной красотой прудов в парке Лазенки, где он любит прогуливаться, перед барочными башнями в Вилануве, перед замысловатыми фронтонами домов на площади старого рынка.

«Пёстрый мир! – слишком шумный, слишком сумасбродный, слишком безумный – всюду неразбериха... трезвон колоколов, пение монахов, «янычарская музыка», брань портовых рабочих и базарных торговек – словом, весь тот шум, что мешает сочинять музыку и доводит до состояния хогартовского «Разъярённого музыканта», – жалуется Гофман другу-спасителю Гиппелю. И зря жалуется! Варшавская пора – самая золотая в жизни Гофмана. Наконец-то он обеспечен, ни от кого не зависит и может посвятить свою жизнь любимой музыке, и наконец эта любовь взаимна. Горы нот, водопад музыки. Гофман необычайно плодотворен в этот период. Несколько инструментальных произведений: квинтет для арфы, двух скрипок, альты и виолончели, фортепьянные сонаты, симфония Esdur для большого оркестра, заканчивает мессу d-moll, писал произведения для католических костелов, даже пел прекрасным тенором соло у бенедиктинцев на Краковском предместье.

Артистическая Варшава узнала его и как прекрасного дирижёра. Был он и первым, кто исполнил в Варшаве I, II, III симфонии Людвиг ван Бетховена. Кроме этого покорила публику как знаток и исполнитель Моцарта. Вот что записал после одного из концертов слушатель о Гофмане: как спокойно и сдержанно способен держаться, несмотря на живой, как серебро, темперамент. Его движения были живыми и быстрыми, но лишены какой-либо аффектации. Позднее высказывалось мнение, что трудно было бы другому дирижёру превзойти его в исполнении музыки Моцарта. Гофман изучил произведения Моцарта до мельчайших подробностей и умел извлечь из них самые чарующие звуки, на которые был способен самый лучший оркестр. Здесь он уже через год с успехом поставил зингшпиль «Веселые музыканты», потом еще были театральные постановки, «Любовь и

ревность» по Кальдерону. Он овладевает в дополнение к английскому, французскому ещё и итальянским языком, а заодно и диалектами: венецианским, сицилийским, неаполитанским. Да этот неутомимый герр Гофман был ещё и полиглотом.

В 1805 году стараниями поляков и немцев создается Варшавское музыкальное общество. Гофман – вице-президент и секретарь одновременно. Общество покупает старинный дворец Мнишув, и теперь Гофман ещё и архитектор, и декоратор. Даже залы он расписывает сам по своим эскизам. Нет, он не поместил там портреты композиторов. Главное место занимали «портреты» древнегреческих богов, фантастических птиц, фей, ундины. Хотите представить поконкретнее, прочтите описание комнат архивариуса и мага по совместительству Лингорста в «Золотом горшке».

В конце 1806 года Варшаву занимают наполеоновские войска и Гофман как прусский чиновник уволен с работы и оказывается вновь в тяжелом материальном положении. Квартира реквизирована французами. Жить негде. Растет нужда, в январе 1807 года ему удастся отправить жену и дочку к теще в Познань. Сам живет в мансарде, а потом и на чердаке. Нужда и болезнь преждевременно старят молодого мужчину тридцати одного года от роду, но впереди его ждут ещё более тяжкие испытания...

В апреле 1807, не без помощи друзей уезжает в Берлин, и здесь он буквально голодает. Ему пытаются помочь друзья: Юлиус Гитциг, его тётка фрау Леви. Найти работу невозможно. Ещё один удар – жена тяжело заболевает, умирает двухлетняя дочка... Родственники жены жестоко обвиняют его. Гофман сам сваливается в нервной горячке.

Май 1808 года. «Работаю до изнеможения, – пишет он своему верному Гиппелю, – о здоровье уже и не думаю, нужда достигла крайней степени. Вот уже пять дней ничего не ел кроме хлеба, – такого ещё со мной не случалось никогда». Спасение ждет его в Бамбергском музыкальном театре. В августе он забирает от родителей поправившуюся верную Мишку и в сентябре поселяется вместе с ней в Бамберге. Здесь начнется один из самых бурных его романов. И здесь в Бамберге наконец осуществится его истинное призвание – быть великим писателем. С самого первого дня он влюбляется в этот город с его кривыми улочками, домами со скошенными размелеванными фасадами, епископским дворцом. Все здесь причудливо, пышно, узорчато, барочно и подвижно. Здесь царят

толстощекая грубоватая веселость, склонность к роскоши и беззаботной жизни, холодная вежливость жителей старой империи, терпкий аромат ладана и копченого сала. Гофман прислушивается, принимает, пробует на вкус, копит впечатления. Скоро он начнет раздавать те богатства, что накоплены им с первых лет жизни. Гофман не хочет даже думать об адвокатской практике; чтобы свести концы с концами, начинает давать уроки пения и музыки (в городе он очень популярен как композитор). Думает о создании в городе певческой академии по образцу варшавской. 27 января 1809 года запись в дневнике: «Похоже, что наконец-то соизволила начаться моя литературная карьера». Печатается «Кавалер Глюк», которого относят к числу лучших рассказов Гофмана.

Весна 1810 года. Работает в театре и почти каждый вечер с друзьями, они пьют, спорят, сквернословят с забавной неуклюжестью образованных людей и веселятся от души. Гофман всегда зритель, всегда свидетель, одинокий наблюдатель. Жизнь зачаровывает его, мир вокруг – это дьявольская афера, где правила игры установлены раз и навсегда, карты помечены, а игроки только это и заслуживают. Игроки – те, кто беседует о погоде и своих любимых чадах, жеманные кумушки, остроумные пустомели, лизоблюды, конформисты – словом, весь мир, который не смог удовлетворить своей великой потребности – потребности Любви.

С годами эта потребность Любви дает о себе знать все больше, к 1811 году Гофман созрел для истинной страсти; она станет для него великим испытанием. Он страстно влюбляется в свою ученицу Юлию Марк.

Ей 15 лет, у неё тёмно-синие глаза и худое лицо янтарно-жёлтого цвета, обрамлённого чёрными локонами. В дневнике писателя она появляется то в образе мотылька, то в виде сокращения Ктх, что означает Кетхен (героиня драмы Клейста «К. из Гейльбронна»). Воображение его было потревожено, когда он увидел и особенно услышал, как она поёт. Он день за днем фиксирует те состояния души, которые вызывают у него частые встречи с Юлией.

16 февраля 1811 года: «...в «Розе» – вечером торжественно отметили именины Юлии – приподнятое настроение – это приподнятое настроение охватывает меня всё чаще, и я боюсь, как бы не быть беде – Ктх». Он жутко ревнует Юлию ко всем, кто к ней приближается. И так два года. Гофман фиксирует свою работу, встречи, визиты, попойки, настроения, колебания своей страсти и иногда своего безразли-

чия к Юлии, свой страх перед безумием, грёзы и дважды – зашифрованные в виде иероглифов мысли о самоубийстве. Гофман ежедневно бывает в «Розе», превосходной гостинице в старом Бамберге. Хозяин доволен клиентом: тот пьет и засыпает, уронив голову на стол. Гофман встречается здесь с друзьями. Однако чаще одиноко сидит в углу, затягивается длинной трубкой и напивается. После смерти его друг Гитциг из уважения к писателю пытался истолковывать тягу того к спиртному, как своего рода потребность в дионисийском экстазе.

10 августа 1812 года: «Удар нанесён! – Донна стала невестой этого чёртова тупицы-купца, и мне кажется, что моей музыкальной и поэтической жизни конец – это был ужасный день». Страдает он бессловесно. Гофман чувствует себя обманутым Юлией, но обманутым не столько в любви, сколько в их общей страсти к музыке. Она отказалась быть жрицей искусства и променяла волшебный мир гармоний на мир домашних хлопот и яблочного повидла. Юлия уезжает с супругом в Гамбург. Гофман честно боролся с собой. Вплоть до отъезда из Бамберга в 1813 году, где в течение двух лет разворачивалась личная его драма. 4 марта 1813 года последнее о ней упоминание в его дневнике...

Женские образы Гофмана олицетворяют мир любовной страсти и музыки. Почти все они поют, ибо почти все они являются отражением Юлии, но ни одна из них не пишет и не рисует, так как эти занятия были ей чужды.

Берлин, 1815 год. Служба в министерстве юстиции. В первые месяцы почти ежевечерне он получает приглашения на ужин или в литературный салон, на частный концерт или вечеринку. Он окружён новыми и старыми друзьями: писатель Людвиг Тик, Франц Хорн, Гумбольдт, Фуке, Шамиссо, Гитциг, художник Филипп Фейт, филолог Бернгарди.

Дружба с бароном де ла Мотт Фуке продолжалась восемь лет до последних дней писателя. Он одаривает Гофмана радостями изысканного общества, отменной кухни и отборного вина. Чтения вслух, споры, музицирование, шутки. В свободное от службы время ведет весьма оживленную общественную и светскую жизнь, ежедневно встречи в салоне фрау Леви или в кафе «Мандерлее». Министры, юристы, художники, работники театра, музыканты, советники и – красивые женщины. Его новый друг и гениальный актёр, родственная натура – Людвиг Девриента. Они вместе посещают погребок «Лютер и Венегер», куда заглядывает страстный поклонник Гофмана юный Гейне.

В августе 1816 года проходит торжественная премьера «Ундины» - эта опера заняла несколько лет кропотливой работы. Декорации для представления в Королевском театре выполнены Шинкелем. Опера имеет огромный успех у публики и критики, а главная солистка – у Гофмана. Иоганна Эвинке станет последней любовью писателя, любовью скорее нежной, чем страстной; их чувство будет носить характер тёплого душевного влечения между молодой, умной и одухотворенной женщиной и преждевременно состарившимся мужчиной... Гофман позволяет себе шамбертен и пунш, курит баринас (сорт южноамер. табака), носит турецкий домашний халат, зелёные сафьяновые туфли с подкладкой из белого атласа и дорогой сюртук, но ему далеко до благоденствия. Гиппель снова за него хлопочет о невыплаченном почти за год жаловании.

Гофман много работает, Гофман совершает оздоровительную поездку на курорт в Силезию, которая заставляет подумать, что он полностью поправился. В его полной превратностей и испытаний жизни наступает долгожданная передышка. Неплохо оплачиваемая служба оставляет ему достаточно времени для литературного творчества, приносящего ему огромный успех и гонорары.

1 мая 1820 года в письме к доктору Шпейеру с приглашением посетить Берлин он пишет: «Вы найдете меня в небольшом скромном жилище, но зато в одном из красивейших районов Берлина, прямо под новым зданием театра, где я обретаюсь со всеми удобствами. Моё положение позволит мне познакомить Вас с интереснейшими людьми, да и в отношении плотских потребностей Вы останетесь совершенно довольны. Что касается изысканности, утонченности и изобилия блюд, то мы соревнуемся с парижанами, и среди нас немало тех, кто как истинные гурманы предпочитают рестарацию Ягора на Унтер-ден-Линден подобно заведению Верри в Париже. Заодно Ваш покорный слуга открыл для Вас небольшой, но отменный винный погребок, который буквально на днях пополнился самым приятным образом». Гоф-

ман всё реже покидает дом и посвящает почти все свои вечера литературной работе. В туфлях из зелёного сафьяна, в турецком халате, с трубкой в зубах и верным котом под боком он заполняет тетрадь за тетрадью своим чётким почерком...

Гофману была свойственна жестокая невинность человека, обладающего повышенной чувствительностью, поскольку такой человек всегда пребывает в состоянии крайнего внутреннего напряжения, элементарное чувство самосохранения запрещает ему обременять себя теми ударами судьбы, которых он не может избежать. Для писателя, особенно писателя-романтика, его собственное душевное беспокойство, настоящее или выдуманное, – трудно сказать, где проходит линия раздела, – служит источником энергии, игрой, рабочим материалом и объектом созерцания.

Любовь к Иоганне была достаточно сильна, чтобы сделать его счастливым, но слишком ровна и умеренна, чтобы он был удовлетворен ею полностью.

За несколько месяцев до смерти он напишет из Берлина своему другу – доктору Шпейеру: «Фанни Тарнов рассказала мне по возвращении из Гамбурга, что Юля развелась и вернулась в Бамберг... Если вы находите уместным и возможным... говорить обо мне в семье М., то улучив мгновение, когда будет ярко светить солнце, передайте Юлии, что память о ней живет во мне, – если, конечно, можно назвать памятью то, что заполняет всю мою душу, что в виде таинственного дождя от высшего духа приносит нам прекрасные мечты о восторге, о счастье, которое невозможно ни ухватить, ни удержать руками из плоти и крови. – Передайте ей, что ангельский образ всей сердечной доброты, всей небесной прелести истинно женского понимания, детской добродетели, засиявшей мне в непроглядной тьме несчастливых дней, останется со мной до последнего вздоха, и лишь тогда, в единственно подлинном бытии, разглядит освобождённая душа то существо, что было её тоской, её надеждой и утешением!»

Алексей ГУБИН

УЗНАВАНИЕ ЛИТВЫ

Сейчас я пытаюсь вспомнить, как происходило моё знакомство с Литвой. Я приехал в Калининград ранней весной 1955 года в возрасте 25 лет. Поезд шёл через Литву, и я смотрел из окна вагона на проплывающий мимо пейзаж. Он был не очень похож на российский. Он был какой-то другой. А что я тогда знал о Литве?

Из школьной программы по истории я, конечно, помнил, что в какие-то стародавние времена существовало Великое княжество Литовское, простиравшееся от Балтийского до Чёрного морей. Потом это Великое княжество почему-то распалось. Затем в моих познаниях наступал провал и слово «Литва» вспоминалось в связи с тем, что вождь мирового пролетариата В. И. Ленин, последовательно проводя национальную политику и уважая права народов на самоопределение, предоставил Литве государственную самостоятельность. Но литовский народ стонал под игом ненавистной буржуазной диктатуры. Люди жаждали свободы и справедливого распределения доходов монополий. Наконец в 1940 году мечты сбылись: литовский сейм единогласно принял резолюцию о желании добровольного вхождения в состав СССР. Вождь и отец всех народов И. В. Сталин не остался глух к просьбе. Литва была принята в братский союз советских республик.

Потом, когда я поглубже влез в историю Литвы, я стал задумываться о некоторых нестыковках в моих знаниях. Почему же всё-таки распалось Великое княжество Литовское? В чём причина? Или в его многонациональности, или в агрессии соседних стран? Почему Советский Союз в Литве называли оккупантом, если литовский народ сам попросился в СССР? Но эти недоумения возникли потом. А пока по приезде в Калининград мне было не до таких умозрительных рассуждений. Надо было осваивать новую работу, приобретать профессиональные навыки, налаживать домашний быт.

Но вот в 1963 году в СССР произошла оче-

редная большая управленческая реформа. Строительную отрасль, где я имел удовольствие трудиться, переподчинили от Калининградского совнархоза в ведение министерства строительства Литовской ССР. Меня, в числе других представителей от калининградских строителей, вызвали на министерское совещание в Вильнюс. Хотя мы, калининградцы, на этом совещании находились в явном меньшинстве, рабочим языком на нём был русский язык. Такая предупредительность явилась для меня приятным сюрпризом. Более того, литовские коллеги пригласили нас вечером на праздничный вечер в министерстве, устроенный по случаю, причину которого я запомнил. На следующий день я до вечера пробродил по Вильнюсу с фотоаппаратом. Город произвёл на меня весьма благоприятное впечатление. Конечно, Вильнюс резко отличался от Калининграда. Калининград ещё носил на себе раны от войны, остались развалины, центр размыт. Но у этих городов сложились разные судьбы...

Здесь я хочу подчеркнуть важное обстоятельство. Что скрывать, мне часто приходилось слышать о проявлениях национализма по отношению к русским: что, мол, на обращение по-русски в ответ можно было услышать: «но супранте». Не берусь судить «за всю Литву» и за всех русскоязычных граждан её посещавших, но лично у меня никаких проблем в общении с литовцами не возникало. Даже посетив Клайпеду после провозглашения независимости Литвы, я не ощутил никакого неудобства в общении с её жителями. Уже спустя десятилетие, побывав в Ниде, я не встретился ни с каким недоброжелательством. Правда, молодое поколение литовцев теперь не всегда хорошо владело русским языком, но на помощь мне всегда приходили люди постарше и выступали в роли переводчика.

...После 1963 года мне часто приходилось бывать в Литве: командировки, экскурсии, част-

ные поездки и так далее. Однако, был ещё один повод побывать в Литве. Сразу оговорюсь, что пишу об этом с чувством некоторой неловкости и смущения. Мне даже как-то обидно за державу, но из жизни этого не выкинешь. Дело в том, что, несмотря на многочисленные постановления о развитии сельского хозяйства в СССР, на радужные рапорты и сводки об успехах на нивах плодородия, продуктов на прилавках калининградских магазинов становилось всё меньше и меньше. А кушать хотелось всё больше и больше. Предприимчивые калининградцы стали искать выход и нашли его. Короче говоря, наши граждане приспособились ездить за продуктами питания в соседнюю Литву. Они «ели» Литву.

Трудно объяснить, почему при почти равных климатических условиях и при общем социалистическом строе в Калининградской области мяса и молока не хватало, а в Литве их находилось в изобилии. То есть, Литва кормила не только саму себя, но и прилегавшие к ней российские области. Виновата ли в этом определённая политика, или это просто гримасы советской экономики, или неумение калининградских руководителей – до сих пор понять не могу. Я лично, признаюсь, имел возможности частенько бывать в приграничном с Литвой городе Советске. От Советска рукой подать до городов Пягегай и Таураге. До Пягегая вообще не более получаса езды на автобусе. Маленький городок Пягегай с трудом выдерживал натиск полуголодных советчан. В мясном магазине возникало опасение, что мяса на всех не хватит. В очереди раздавались голоса: «Советским не продавать!» Нет, это не было призывом против советской власти, это была просьба к продавцу вначале обслужить местных жителей, а потом уже приезжих «советских», то есть советчан. Но реализовать на практике такой призыв не удавалось: ведь на лбу у покупателей не написано, житель какого города он есть. А внедрять торговые визитки тогда не додумались, визитки пришли позднее, когда полки магазинов совсем опустели. А, впрочем, в конце концов, мяса в пягегайском магазинчике хватало на всех, и все покупатели расходились довольные: пягегайцы по домам, «советские» – на автобусную остановку. Но хватит об этом. Не мясом единым жив человек.

Мои занятия краеведением привели меня поближе к истории Литвы. Наладились связи с литовскими учёными и исследователями из Вильнюса и Клайпеды. В литовском отделе калининградской библиотеки я познакомился

с Берутой Станковичене и Ниелей Мешките. Они помогали мне в переводах с литовского. Благодаря помощи активиста литовского культурного общества Еугениуса Чаяускаса я выпустил в 2004 году сборник «Балтийский альманах» № 4, посвящённый Литве. С литовским консулом в Калининграде Арвидасом Юозайтисом мы совершили две большие поездки по «литовским» местам в Калининградской области. И тут самое место сказать ещё об одном смутном историко-географическом понятии. Речь пойдёт о пресловутой «Малой Литве».

Этот термин вдруг как-то неожиданно всплыл откуда-то из исторических глубин на поверхность в самом начале перестройки. «Малую Литву» стали трактовать по-всякому все, кому не лень. «Малая Литва» стала будоражить воображение. Одни увидели в ней территориальные притязания Литвы на Калининградскую область. Другие же считали, что понятие «Малая Литва» есть не более, как исторически-культурное пространство в бывшей Восточной Пруссии. Наконец, в 1989 году на божий свет появилась небольшая книжечка на русском языке под многозначительным названием «Замечательные люди Малой Литвы». Речь в ней шла о литовских просветителях, живших в Восточной Пруссии и содействовавших сохранению и развитию литовской культуры. Мне позвонил составитель книжки Витаутас Шилас и попросил разузнать, не согласится ли калининградский книготорг взяться за распространение книжки на комиссионных началах. Я взял экземпляр и пошёл в книготорг. Директор книготорга посмотрел на книжку, как на ядовитую змею. Он осторожно взял её в руки, быстро пролистал и скорёхонько вернул мне. Я ушёл ни с чем. Потом, спустя время, калининградская общественность стала гораздо терпимее относиться к «Малой Литве»; такое понятие уже не вызывало бурных эмоций. Страсти улеглись и уступили место рассудку. Продолжилось сохранение церкви-музея Донелайтиса, в Калининградском университете вспомнили имя Мажвидаса и установили доску, в сквере поставили памятник Резе и так далее. Правда, дело со строительством литовского культурного центра в Калининграде почему-то застопорилось; но кто там прав, а кто виноват судить не мне. С другой стороны, литовское консульство в Калининграде обзавелось вторым зданием, что явилось отрядным фактом.

Сейчас я могу много порассуждать на темы истории Литвы, связанной с историей Пруссии и России. Я побывал на поле битвы под Рудау

(ныне Мельниково около Зеленоградска). В этом месте ранней весной 1370 года боевые отряды литовских князей Ольгерда и Кейстута сошлись в сражении с войском Тевтонского ордена под предводительством гроссмейстера Книпроде и маршала Шиндекопа. Каждая из сторон приписала себе победу и покинула поле боя. Я вник в родословную потомков литовского князя Гедимина и узнал, что Гедиминовичи стали знатными и элитными вельможами на Руси наряду с Рюриковичами и Романовыми.

При всём том, что я сказал выше, я не склонен рисовать литовские впечатления исключительно в розовых цветах. Конечно же, Литва – не рай земной, и проблем у неё хватает. В частных беседах литовцы сетовали на дороговизну жизни, на бытовые неурядицы и так же, как и калининградцы, поругивали свои власти. Главное же, что я вынес из знакомства с Литвой, – доброжелательность литовцев к тем, кто и к ним относится с уважением. Я храню в своей памяти нашу совместную поездку на автобусе в немецкий городок Травемюнде.

Я помню прогулки по гостеприимной Ниде. Я запомнил долгие разговоры с клайпедским краеведом Вилли Науиоксом в его квартире на проспекте Статибининку. Незабываемо созерцание панорамы Вильнюса с высокой башни Гедимина. Никогда не забыть музей всяческой чертовщины в чопорном городе Каунасе. Как будто вчера я перехожу через реку Неман по мосту королевы Луизы и попадаю в местечко Панемюне. А потом мысленно переносюсь на берега речушки Лепоне, вхожу в Кибартай и пытаюсь отыскать дом, в котором родился художник Левитан...

...В последние годы – увы! – Литва стала отдаляться от меня. Причин тому несколько: обилие мясной продукции в Калининграде, мои преклонные года, хлопоты с получением загранпаспорта, визовый режим, высокие цены на проезд и другая подобная кутерьма. Но ведь она осталась рядом, Литва. Я ловлю по приёмнику радиостанцию из Клайпеды и вслушиваюсь в знакомый литовский говор. Лабос, Литва!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО



В начале апреля в Калининградском областном институте развития образования по инициативе Агентства по делам молодёжи правительства КО прошла конференция молодых литераторов «Молодые голоса». Гостем конференции (и ведущим мастер-класса секции поэзии) был известный поэт и бард Владимир Шемшученко (Санкт-Петербург), автор девяти книг стихов, собственный корреспондент «Литературной газеты» по Северо-Западу, главный редактор журнала «Всерусский соборъ» (см. Интернет).

* * *

Есть потребность в игре у детей,
есть потребность в игре и у взрослых.
Пусть игра – имитация действий
с настоящей гармонией чувств.
В жизни я – никудышный игрок,
и в игре моей столько вопросов,
Что на них имитацией жизни
я трусливо ответить боюсь.

Кто ты, мой неизвестный партнер
по игре без судейства и правил?
Мы с тобою сейчас выбираем
расстояние в десять шагов.
Но предательски дрогнет рука,
я сегодня опять проиграю.
Ты же выстрелишь в воздух красиво
монологом из нескольких слов.

Есть потребность в игре у детей.
Есть потребность в игре и у взрослых. –
Слабый к сильному льнёт, малорослый
прибивает высокий каблук.
Есть такая игра у людей:
расставлять своих ближних по росту,
Чтобы головы было удобней
проверять,
как арбузы,
на стук.

Донос.
ОГПУ.

Расцвет ГУЛАГа.
Руби руду!
Баланду съешь потом...
Мой дед с кайлом в обнимку – доходяга.
А я родился в... пятьдесят шестом.

Война.
Концлагерь.
На краю оврага
Эсэсовец орудует хлыстом...
Отец с кайлом в обнимку – доходяга.
А я родился в... пятьдесят шестом.

Орел двуглавый.
Гимн.
Трехцветье флага.
С нательным в новый век вхожу крестом.
Кровоточит под строчками бумага,
Ведь я родился в... пятьдесят шестом.

* * *

Полжизни спалил.
Ошарашен итогом.
Всерьез негодую на праздных гостей.
Чернильная туча ползет осьминогом
И звезды глотает...
Измята постель,

Как мертворожденное стихотворенье.
Погода меняется – ноет плечо.
Еще две строфы и, как муха в варенье,
Увязну...
Поэзия здесь ни при чем.

Вот плюну на все и уйду без оглядки,
И жизнь, что всегда оставлял на потом,
Взахлеб стану пить, буду в чистой тетрадке
Писать очень просто об очень простом.

И брошусь с разбега в беззвездную полночь,
Чтоб хоть на секунду приблизить рассвет...
Свисти, не смолкай, соловьиная сволочь,
Сбивай с беззащитной черемухи цвет!

* * *

Бросил в урну и ложку, и кружку,
И когда это не помогло,
На чердак зашвырнул я подушку,
Что твоё сохраняла тепло.

Не ударился в глупую пьянку,
Не рыдал в тусклом свете луны, -
А принёс из подвала стремянку,
Чтобы снять твою тень со стены.

Ты ушла, и довольно об этом.
Я сходил за водой ключевой,
Вымыл пол и остался поэтом
С поседевшей за ночь головой.

* * *

По дороге домой – в самой гуще стекла и металла,
Где чужого боятся и буднично бьют своего,
Повстречался мне дождь, он по лужам слонялся устало,
И прохожие грубо зонтами толкали его.

Громыхнуло вдали. Сбились в стадо пугливые тучи.
Купол храма качался и плыл в дождевом гамаке.
Но откуда-то сверху пробился единственный лучик
И отвесно упал, отражаясь зеркально в реке.

Тормозили машины, глаза на ходу протирая,
И троллейбус вздохнул и застыл, дождевав тормоза.
И увидели многие — радуга вышла из рая,
А не «каждый охотник желает знать, где сидит фазан».

Я ломаю строку, между тьмой разрываюсь и светом.
Мне вовек не избыть возвышающей душу мечты,
Что никто на земле не дерзнёт называться поэтом,
Не постигнув величья дарованной нам красоты.

* * *

Грошовый плацкартный уют.
Вагонных колёс перебранка.
Жара. Изнывает светильник,
приплюснутый к потолку.
На верхнюю полку сосед
с ленивою грацией танка
Поднялся, всхрапнул...
Очень жалко уснувших на левом боку.

Горчит остывающий чай.
Стихают вокруг разговоры.
Змеёй извивается поезд,
вползая по рельсам в зарю.
Бегут за окном огоньки.
Колышутся мятые шторы.
Вернусь – эти длинные строчки
любимой жене подарю.

Она их смотает в клубок
и шарфик мне на зиму свяжет,
А может быть, кофточку дочке –
она по ночам плохо спит,
А может быть, тихо вздохнёт
и доброе слово мне скажет...
Скитается взгляд по вагону,
чего ни коснётся – болит!

УМУЧЕННЫМ ПОЭТАМ

*Власть отвратительна, как руки брадобрея.
Осип Мандельштам*

Вы хотели вместить в себя всё,
Потому оброну невольно:
И рыдающий звон колокольный,
И снежинки, что ветер несёт.

Вы ушли, не желая служить
И прислуживать брадобрею.
Я стихи ваши горькие грею
Под рубашкой, и сердце дрожит.

Нынче в небе так много луны,
Но темны ваши светлые лица.
И уже не успеть повиниться –
Вы на десять шагов не слышны.



Викторас РУДЖЯНСКАС

В преддверии ежегодного фестиваля «С книгой в XXI век» в Литературной гостиной ПЕН-центра прошёл творческий вечер известного литовского поэта Виктораса Руджянскаса, главного редактора еженедельника «Няманас» (Каунас).

Удивительные стихи, ассоциативный ряд которых будит в читателе стремление разгадать тайну бытия, тайну любви и смерти, преданности и ухода. Тайну красоты и пути к ней – единственного, твоего... И каждый – каждый человек! – несёт эту тайну в себе. Весь вопрос – хочет ли, умеет ли он эту тайну осознать и разгадать, ибо на это уходит жизнь. Но ведь для того он – Homo sapiens – и приходит в эту жизнь...

*Свобода
...лишь миг
до того Бога
который смотрит мне в глаза
и видит душу моей матери
когда она
смотрит в глаза убитого колибри
и видит меня...*

Фантастический и одновременно осязаемо реальный мир поэзии Виктораса Руджянскаса обрёл поклонников и читателей на английском, итальянском, белорусском, хорватском, венгерском, польском и других языках. Недаром его творчество отмечено почетной в Литве премией им. Саломеи Нерис и другими наградами, а два года назад награждён Союзом писателей Украины Медалью Почёта за духовный вклад в области литературы.

В некоторых случаях, признаётся сам поэт, ему необходимо возвращение к русскому языку, дающему слову неограниченные возможности многообразия ассоциаций и смысла, способному хранить тайну и манить жаждой её раскрытия. Поэтому он иногда пишет стихи на русском, столкнувшись с тем, что даже в хорошем переводе часто утрачивается дыхание, личностный нерв автора. И участников поэтического вечера зачаровывал сам музыкальный строй, своеобразный джазовый инструментальный стиха...

*Как сон омара
прозрачное вино как сон омара:
в багдаде выживают без поэзии –
слышны шаги, а чьи шаги – не знаю.*

*прозрачное стекло
хрусталь бокала:
madame, вино в багдаде пить запрещено –
слышны шаги, а чьи шаги – не знаю.*

*кто ищет хлеб, а кто Коран читает,
на небе розовом грачи чернеют:
там беспокойно и нехорошо –
слышны шаги, а чьи шаги – не знаю.*

*без мудрости в багдаде выживают,
без крови там любить не суждено –
слышны шаги, а чьи шаги – не знаю:
омар забыт, и где найти вино?*

Ведущий вечера председатель ПЕН-центра Вячеслав Карпенко отметил давнюю и прочную связь культуры Калининграда и Литвы, значение Слова для понимания друг друга, необходимость обмена творческим потенциалом литераторов, художников, музыкантов.

Эту необходимость культурных контактов отметил и генеральный консул Литовской республики в Калининграде Вацлав Станкевич. Как и то, что именно культура является связующей нитью нашей дружбы и самопознания.

И поэзия Виктораса Руджянскаса – сгусток искренности самопознания, удивления и восторга перед красотой космоса жизни и его тайной... Поэт признаётся, что русский язык, как и русская классика, добавляют его дыханию и восприятию мира многое. Как, впрочем, ощутимы и ритмы французского символизма прошлого века, и обволакивающая негa Востока, и экономная точность и многозначность слова в китайской и японской поэтике. Всё то, что сливаясь в единый океан многообразными реками, слагает мировую культуру человечества.

куда летит колибри

только Вы знаете
куда летит колибри
и что крепче абсента
и что дороже подпольного парижа
но
в этом краю или в этом мире Вас нет
в моей душе открывается пустыня
без оазиса без пальмы без божьей коровки
без Вашей тени
и без меня –
кто пишет это стихотворение –
я или зеленый огонек абсента
который разбавляет темноту?

меня предал хохот гомера
а вопросы гамлета не интересуют
хочу увидеть то что между буквами
строфами строчками
должна ведь быть точка
в которую направляется колибри
не в этом краю
не в этом мире

не признаю нашего прощания

я не признаю дня нашего
прощания

(мандариновые рощи
ведь пробивает снег
у подножья кайласа –

как же я мог стать
тишиной на невском:

если все мои пророчества
каменеют, певица) –

ты ходишь по тротуару,
не отрываясь
от ладони моей

призрак тоски и пафоса

я призрак тоски и пафоса
в черном футляре
я есть он

колибри всё не так всё не так колибри
всё так

всё так спокойно так мимо в самый эпицентр смерти
и спада в смерти и взлета в смерти и
пусть переписывают шумеры формулу полета

колибри

пусть закрывают
в черном ящике светлой памяти все города
над которыми ты пролетел
над которыми я пролетаю

всё не так

колибри всё так всё так колибри
достойное направление полета к шумерам
в самый эпицентр вселенной
на исповедь
за чувствами которые жгут шар земной
но не смогли развести огонь в городах под землей

я есть он
призрак тоски и пафоса
в черном футляре

ты говоришь – это жизнь
а я отвечаю – жилы забила высь

думаю о тебе

думаю о тебе когда летом падает снег
и зимою думаю о тебе
когда ветер срывает лепестки
когда идет пурга в душе
думаю о тебе

думаю о тебе
когда сижу на вершине горы
и смотрю свысока на свое несчастье
когда в петлю влетает орел
и не может гордо умереть
думаю о тебе когда думаю
о его смерти

думаю о тебе
когда мне улыбается
продавщица мороженого
когда все газеты пишут о войне
думаю как тебя завоевать
думаю о тебе
когда теряю равновесие
и падаю лицом в грязь
этой осени

падаю и думаю о тебе
и до самой весны буду падать
а потом
 прилечу
но ты не откроешь форточку

не буду думать почему думал о тебе
буду думать о тебе
и
стекло разобьется

во сне - на луне – икебана

гейша

переполнена тайнами твоя икебана,
твоя икебана - твой танец в тени сакуры,
сакура в тени твоего танца - таинственный
танец твой,

гейша,

гейша,

таинственно смотрит луна –
луна – икебана во сне – а ты – икебана лунная
– всю ночь лицо

твое бледное,
гейша,

гейша,

найдется ли для меня
тайна во бледном сне
таинственной икебаны?
когда приглашаю сакуру
на танец таинственный,
гейша.
сливаются все лепестки,
во сне – на луне – икебана
таинственно смотрит
на нас. когда между нами
нет промежутка для тайны.

в пустыне спокойно и тихо

в пустыне спокойно и тихо
нет багдада ослика ада
восхищаюсь диким пейзажем

а во снах разговоры веду
с рыбаком и непойманной Рыбой
да на каждой чешуйке её
вижу отблеск лица твоего –

у забытого Богом окна
у окна что открыть не могу

24 06 2009 2009 06 24

дождь
идёт по нашим следам

и исчезает до последней капли

крест поставить
или знак препинания

ПРОЗА СРОДНИ ПОЭЗИИ

(Вячеслав Карпенко «Придорожник», Калининградский ПЕН-центр, 2009 год)

На обложке недавно изданной книги – волк, воющий на луну. Он со страниц «Вожаков» – вдохновенной песни о всепобеждающей страсти к жизни. Повесть эту автор недаром именует поэмой. Вязь составляющих ее слов ритмична и красочна. Вожак-волк после последней победной схватки «подходит к вытянутой напряженной шее марала, косится на рога, лапой чуть трогает покрытую инеем гриву, воротником сбитую на оленьей шее. Ощувив зуд, зализывает сукровичный развал на бедре, что успел таки в последние секунды оставить на память марал...» Цитировать можно бесконечно. Надо читать, читать неспешно, радуясь свежести и выразительности речи. К своей последней битве волк и марал каждый шли своим путем. Законы природы влекли их. Были эти законы беспощадны, но справедливы. И совсем по другим «законам» живут браконьеры, уничтожающие красавцев оленей только для того, чтобы вырвать из головы лесных красавцев ветвистые рога. Это противостояние зверей и людей прописано и в других рассказах. Наряду с «Вожаками» одним из лучших рассказов считаю «Там, за морозным окном». Преданный и любимый пес Балт умирает, уходит целый мир, друг человека остается жить в воспоминаниях и в дереве на его могиле: «Дерево на том холмике на обрыве занесено снегом, оно еще небольшое, но оно проснется весной. И частица Балта, его большое тело, поможет тому дереву тоже стать большим. И мальчишки будут рвать зеленый еще урюк и не будут знать, что силы та урючина взяла у моего Балта. И птицы будут клевать перезрелые ягоды у корней дерева, уходящих в каменистую землю, удобренную голубоглазым псом...» Так ничто и никогда не исчезает бесследно. И все едино в природе. Человек и звери, деревья и трава. Об этом книга.

И, чтобы жизнь не ушла бесследно, надо уметь повторить ее точными словами. Это дано мастеру – непростое и сладкое бремя творчества. Раздел книги, посвященный любимому художнику автора Сергею Калмыкову называется «Путь мастера». На иллюстрациях в книге – графика этого мастера. Волшебный мир причудливых линий. А в эссе и рассказах образ мастера – яркого представителя Серебряного века, «са-

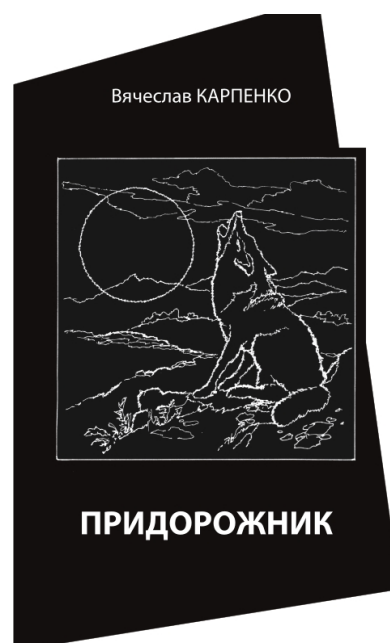
мого счастливо-го человека на Земле, в Космосе и их окрестностях». Потому что ни на грани не отступил он от своих убеждений, не предал в угоду земным богатствам свой талант. «Художник должен быть наивен, беспечен и бескорыстно щедр»... Не продавший за свою жизнь ни одной картины,

умерший в полном одиночестве и нищете, он воскресает на страницах книги: мы осознаем, насколько он велик и как богаты и еще до конца не познаны его фантазии – эти слоны и жирафы, эти удлинённые невесомые женщины, эти юные принцессы, ирреальные образы, оказавшиеся на поверку живее реальных. И тоска автора о стране нашей, втопавшей в нищету не только Калмыкова: «О, Россия безоглядно богата: как ни одна другая страна, она высылаёт своих гениев в тундру и на Брайтон-Бич, в окопы и в тюрьмы или просто морит голодом и забвением. А потом умиляется возвращенным ей ширпотребом или бледным сколком разбазаренных самоцветов...» Калмыкову выпал не самый худший вариант. Как и автору, дан был простор казахских степей. Остановить же художника невозможно ни тюрьмой, ни ссылкой, ни подлыми наветами бездарей.

Гимн художнику неожиданно продолжают стихи. Поначалу думается: а зачем же к прозе примешивать поэзию? Но осознаешь, ведь и прочитанная тобой проза тоже была сродни поэзии.

Автор этой книги многое повидал, многое пережил, был и моряком, и егерем, боролся и не всегда побеждал, но всегда оставался верен своему призванию. Таков он – Вячеслав Михайлович Карпенко – председатель Калининградского ПЕН-центра. И книга эта издана в созданном им ПЕН-центре, и будем надеяться – даст она старт задуманной нами библиотеке калининградских писателей.

Олег ГЛУШКИН



« НАШИ МЕРТВЫЕ НАС НЕ ОСТАВЯТ В БЕДЕ...»

Роман Олега Глушкина «Парк живых и мертвых» соединяет в себе три периода времени: начало восемнадцатого века, вторая половина двадцатого века и начало двадцать первого века, то есть день сегодняшний. Место действия – Восточная Пруссия, точнее, ее столица Кенигсберг в восемнадцатом веке и Калининград в двадцатом. Главный герой романа Яков Счедрин, архитектор, урожденный калининградец, пытается не допустить застройки старинного парка, и помогают ему в этом его семья, его друзья – отец и сын Скворцовы. В процессе работы в архивах внука Якова Счедрина Ксения, ярая сторонница теории русского философа Федорова о всеобщем воскрешении людей, находит документы, подтверждающие, что в начале восемнадцатого века Кенигсберг охватила эпидемия чумы. И если бы найти доказательства того, что на месте нынешнего парка было чумное кладбище, это стало бы сильным аргументом против его застройки. В конце романа так и происходит, но это было бы слишком банально, и автор находит ход, закручивающий интригу романа в спираль, подобную строению молекулы ДНК.

Оказывается, кроме сведений об эпидемии Ксения находит информацию о том, что с чумой в Кенигсберге активно боролся русский доктор Яков Счедрин, посланный ранее Петром I в Кенигсберг для обучения лекарскому искусству. Кто он – случайный однофамилец или дальний родственник? К тому же родом он из тех же мест, что и сами Счедрины. Вот тут и берет начало одна из главных идей романа – идея единстве всех и всего в этой жизни.

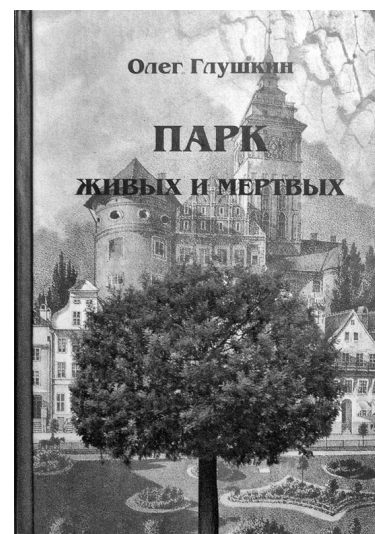
Особое место в романе занимает образ Петра I. Русский царь далеко не однозначен. И само правление, и его результаты, и методы правления – все это воспринимается разными людьми по-разному даже в такой дружной семье, как семья Счедриных. С одной стороны усиление могущества Руси, поворот к наукам, к европейской цивилизации, с другой – жестокость, плохо поддающаяся объяснению, непомерные жертвы. К этим спорам подключается и Скворцов-старший, отставной полковник, некогда командовавший уничтожением останков Королевского замка. По иронии судьбы стал он впоследствии краеведом и по крупицам собирал материалы, чтобы восстановить разорванные когда-то им самим связи времен.

Далее действие увлекает за собой читате-

ля в Кенигсберг восемнадцатого века, и кроме живописных пейзажей старинного города перед нами открываются россыпи имен и событий, оставивших свой след в истории не только Кенигсберга, но и человечества. Здесь и герцог Альбрехт, основавший Альбертину, и Николай Коперник, великий ученый, и сын простого аптекаря Карл Готфрид Хаген, подаривший городу ботанический сад, и, конечно, царь Петр, посетивший Кенигсберг с Великим Посольством. На протяжении повествования русский царь не раз появляется в Восточной Пруссии, и читатель невольно начинает понимать, что появляется он там не просто так, и действительно, все в этой жизни зависит от всего, и одно без другого существовать не может. Другое дело, что мы не всегда стараемся отыскать эти связи. А в недалекие времена и того хуже – наоборот, старались разорвать их в угоду идеологическим установкам, принятым на вооружение официальными властями.

Но вернемся к одному из главных героев романа Якову Счедрину. Он героически сражается с чумой в Кенигсберге, уже заразились и умерли его помощники, умирает и бургомистр Штерн, также стойкий борец с напавшей на город эпидемией. Яков начинает понимать, что его шансы выжить в этой жуткой трагедии становятся все меньше и меньше. А ведь в Рагните ждет его Гретхен, которую он любит всей душой и которая носит в себе их будущего ребенка. Но разве проберешься сквозь кордоны, оцепившие чумной город. Ни одна душа не должна выбраться из этого пекла, чтобы болезнь не распространилась дальше. И все же он пытается выбраться из города, но не потому, что он сдался, а потому, что к нему совершенно случайно попали сведения о готовящемся покушении на русского царя, который в это время проездом находится в Рагните. И Яков, не может не попытаться предупредить это покушение.

Заканчивается роман оптимистично – Ксения находит надгробную плиту из парка с надписью «Якову Счедрину от благодарных



жителей Кенигсберга», которая является еще одним аргументом в их борьбе за сохранение парка. И получается, что давно умерший Якоб Счедрин помогает живым не просто жить, но добиваться своих целей, и цели эти благородны. Продиктованы они не жадой личной выгоды, а заботой о людях, о городе, о буду-

щем города. Может, это и есть воскрешение, о котором говорил Федоров, но через память, и не зря Ксения то и дело повторяет слова из песни В. Высоцкого «Наши мертвые нас не оставят в беде...»

Сергей ПОГОНЯЕВ

СЕСТРА МОЯ ЛИТВА



Так назвал книгу Сэм Симкин – это строчка из его стихов. В книгу, которую он же и составил, вошли стихи русских поэтов о Литве, ближайшей нашей соседке, а в области культуры самой ближайшей. Почти все русские поэты отдали дань Литве. И Алек-

сандр Пушкин, и Константин Бальмонт, и Саша Черный, и Иосиф Бродский...

Калининградские поэты, конечно же, этой темы не миновали. Начиная с самого известного Игоря Строганова с его чеканными и глубоко лиричными творениями и заканчивая пробующими свое перо участниками Зеленоградского литературного объединения, которым руководит тот же Сэм Симкин. Благодаря его неиссякаемой энергии увидел свет не только этот сборник, ему предшествовали книга стихов Людвигаса Резы и проза Германа Зудермана, переведенные Сэмом Симкиным.

Все эти издания способствовали укреплению культурных связей с Литвой, а также способствовали сохранению позиций русского языка в Литве.

Поэтический сборник «Сестра моя Литва» позволяет прочувствовать нашу общность,

скрепленную годами и Куршской косой. Помню, в давние годы, когда путевки в Ниду в дом творчества писателей стоили несколько рублей, мы постоянно проводили там сентябрь-октябрь – самое золотое время для творчества. Именно тогда родились строчки Сэма Симкина, навсегда врезавшиеся в память:

Я прохожу вдохновенный
вдоль палисадников Ниды,
Неповторимый шум моря
будит во мне моряка.
В мягком наплыве тумана
мелкие тонут обиды,
И отзывается в сердце
каждый сигнал маяка...

Тогда же была сочинена Симкиным поэма «Кристионас Донелайтис». Гекзаметры пастора навевали ее. Много позже, уже в перестроечные годы, Вячеслав Карпенко, председатель Калининградского ПЕН-центра, издал поэму знаменитого пастора и основателя художественной литературы Литвы на двух языках, за что и был удостоен премии Донелайтиса. Полагаю, что и Сэм Симкин очевидный кандидат на очередное вручение.

В изданном сборнике есть и новые его стихи. Большая подборка у Бориса Бартфельда и Альбины Самусевич, «Открыткой из Вильнюса» представлен Игорь Белов, «Цепеллинами» – Евгения Палетте.

Рядом с нашими поэтами отдельным разделом – классические вирши. Перечитывать их одно удовольствие. Есть и русские поэты, живущие в Литве. Среди них выделяю Юрия Кобрин, с полным на то правом заявляющего: «Я – русский сын земли литовской».

Издание книги стало возможным благодаря поддержке проекта Консульством Литвы.

Ал. АБРУТИН